



Дизайн автора

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Теперь же, кто хочет есть — ешьте,
 Кто хочет петь — пойте,
 А кто хочет плакать — плачьте.
 Из притчи

Кроме отца, в палате лежали четыре старика, трое у противоположной стены, один у отца в ногах. Когда Сергей проходил мимо, старик этот задерживал на нем страдальческие глаза и тихо, деликатно звал:

— Молодой человек... Сергей останавливался.

— Молодой человек, скажите, что мне делать?

— Лежите! — сразу откликнулись с коек другие старики. — Вам нельзя вставать.

— Геня! — Старик смотрел на Сергея, желая узнать в нем своего сына. Был старик маленький, легкий, как подросток, в белых полотняных кальсонах с завязками на тонких щиколотках, с чистым лбом, на котором голубела детская жилка.

— Геня! — продолжал он звать, расстроенный появлением незнакомого молодого человека, и, старик, лежащий возле открытого окна, снова подавал голос:

— Ишь раскричался: «Еня, Еня!» Придет твой Геня, никуда не денется.

Высокий, деятельный, в спортивном костюме, он всем рекомендовал физические упражнения и, лежа на кровати, время от времени задирал свои длинные, слегка сведенные подагрой ноги. Но передвигался по палате ощупью, и взгляд его пораженных глаукомой глаз на красноватом, шелушащемся от лекарств лице был невидящ. Говорил он, как слепые, громко обращаясь сразу ко всем.

Еще крепче выглядел третий старик, через койку — с розовой голой головой. Аккуратно сдвинув колени, он сидел на краю кровати так, чтобы ступни в белых шерстяных носках, опусти он их ниже, попадали бы прямо в тапочки, поставленные на коврик. К себе он относился заботливо и не говорил, а высказывался — с неторопливой обстоятельностью все постигнутого человека.

Тот, что лежал между ними, был, пожалуй, самым молодым — однако с лицом смертельно усталого, разбитого болезнями человека. Тоскливый страх застыл в его медвежьих, влажных от наплывающих слез глазках, ходил он медленно, с трудом переставляя тяжелые, с огромными ступнями ноги, такие же огромные вывернутые кисти рук не в лад раскачивались.

Отец никого из них не видел и не знал, как не знал, где он. Об этом незнании говорил его недоумевающий взгляд, которым он медленно обводил стену перед собой, потолок... Потом во взгляд попадало лицо сына, и это успокаивало его.

Еще более тревожное выражение было у него в глазах накануне, когда Сергей под вечер вернулся с дачи. Отец лежал на полу и, часто дыша, беспокойно смотрел перед собой, смотрел

мимо сына, словно пораженный какой-то истиной, открывшейся ему с этой новой точки. Он лежал поперек комнаты, накрытый одеялом. Под голову была подоткнута подушка. Глаза его наполнились какой-то птичьей тревогой, он заводил за затылок левую руку, пытаясь этим жестом вернуть себя в ранг земного человеческого существования.

— Сын! — простонала мать. — Что же ты так поздно? Как упал в обед, так и лежит. «Батенька, вставай, — говорю, — держись за меня!» — и не могу поднять. Хоть караул кричи... — И она некрасиво, неумело заплакала.

Сергей перетащил отца на диван. И только тогда они обнаружили, что у отца парализована вся правая сторона. Но это было не в первый раз...

На ночь в больнице осталась дежурить мать, днем он ее сменил, и они заколебались, не взять ли отца обратно. Однако врач сказала, что второго такого переезда отец может не выдержать.

— И в самом деле, — говорила мать, — если что, то из дому пока до «Скорой помощи» дозвонишься... А тут сестры, врачи, уколы... — И она оглядывалась на отца, словно он должен был одобрить перемещение из своего домашнего угла на больничную койку. Но отец не слышал их разговора. Непомerkшее сознание его было озабочено чем-то иным, им недоступным, — и постоянное лихорадочное обдумывание этого иного читалось в его взволнованном, чем-то пораженном взоре. Иногда он по привычке поднимал непарализованную руку с прямыми, чуть раздвинутыми пальцами и внимательно разглядывал ее, словно все ощущения телесного, материального сосредоточились в этой медленно проплывающей перед глазами руке, удостоверяющей, что он тоже материален.

Есть он не ел. Скапливающиеся к ужину тарелки с едой уносила сестра-хозяйка. Под вечер Сергей начинал испытывать голод, но к еде отца не прикасался — считал, что это неприлично. Отец брал губами только мед с чайной ложки да еще охотно пил из чайничка-поильника. Был он тих и смирен, и все заботы сына заключались в том, чтобы время от времени выносить утку.

Наведывалась дежурный врач. Вытуженный халат ладно обтягивал ее крупную фигуру.

— Ну что? — бодро наклонялась она над отцом. — Болеем?

Отец виновато поводит бровями.

— Смотрите сюда... сюда... сюда.

Отец сопровождал движения ее руки взглядом.

— Так, — с подчеркнутым удовлетворением кивала она. — А теперь скажите, как вас зовут?

Щеки отца стали подергиваться, и губы вытянулись в трубочку.

— Ю... Ю... Ю... — шептал он... — Юрий.

— Отлично, — сказала врач. — А отчество?

— Ва... ва... ва... — никак не мог справиться отец, стараясь всем лицом.

— Васильевич, — не выдержал Сергей.

— А это что? — Врач взяла с тумбочки чайную ложку.

— Ло... ложка, — произнес отец.

— А это?

— Часы, — прошелестел он.

— Видите? — обрадовался Сергей. — Он в полном сознании.

Врач ничего не ответила. Она откинула одеяло и принялась ощупывать правую неподвижную руку отца, затем правую ногу.

— Что, доктор? — спросил Сергей.

— Пока ничего, — уклончиво сказала она. — Но в этом возрасте, сами понимаете...

Врач ушла, оставив в нем беспокойство, которое постепенно рассосалось, как бугорок после укула.

Внизу по набережной проносились машины, и их повторяющийся гул врвался в раскрытое окно палаты. В воздухе плыл тополиный пух. Уже вторую неделю стояла жара.

Отец снова спал, дыша совсем неслышно, как стал спать последний год. Шум с улицы его не беспокоил.

К шести вечера к маленькому старику приходил его сын Геня, такой же небольшой, застенчивый и деликатный, и тихо выговаривал отцу за то, что тот опять испачкался, обтирал его, менял кальсоны и принимался кормить. Старик сидел на стуле перед тумбочкой, послушно, как двухлетний ребенок, открывал рот и медленно жевал, преданно глядя на сына. Изредка сын пробовал водить его по комнате, и высокий старик с глаукомой гаркал со своей кровати:

— Правильно, надо ходить, ходить, двигаться — в движении жизнь! — И сам начинал лежать делать упражнения, при этом шумно и целенаправленно вдыхая и выдыхая. Старик со слезящимися глазами медленно поднимался и передвигал к окну свои, словно отяжеленные гири, ноги, а розовоголовый, взяв палку, уходил к приятелям в соседнюю палату. Ему было неловко чувствовать себя самым здоровым.

Молоденькая дежурная сестра, безотчетно симпатизируя Сергею, нашла для него мягкое кресло с длинной спинкой и дала две подушки.

— Устраивайтесь удобней, — зардевшись, улыбнулась она. — Родственники у нас месяцами дежурят.

«Галинский... Тихий, скромный, интеллигентный. Совесть нашего полка. Мне он напоминал князя Мышкина. У него были голубые глаза и соломенные волосы. Странно, как это его скромность уживалась с бесстрашием. Он был командиром пулемета, команды отдавал негромко, будто просил, но бойцы, замороженные то ли его голосом, то ли выражением его чистых, одухотворенных глаз, слушались беспрекословно.

Как же его звали?

А село называлось Гуща. Раскинулось оно на взгорье неподалеку от Буга, нашей границы с Польшей, куда мы, тесня белополяков, вышли к концу лета 1920 года. Наскоро окопавшись на восточном берегу, полк сосредоточил свои тылы в селе. Тылы были изрядно потрепаны, обмундирование, добытое еще на Уральском фронте, изнашивалось до крайности, что же до еды, то перебивались мы картошкой и хлебом — это все, чем могли поделиться с нами крестьяне. Делились они и одежкой, те же из бойцов, кому повезло меньше других, стыдливо отсиживались в церкви, колдуя над своими лохмотьями.

Высокая белая эта церковь стояла на краю села. Помню, как в яркий солнечный день наш пулеметный взвод нес возле нее боевое дежурство. Было жарко, расчет мой скучал в тени, а я заглянул внутрь. Когда глаза привыкли к полутьме, незабываемое зрелище предстало предо мной. В тусклом мерцании золоченых и серебряных окладов, под суровыми взглядами святых сидели и лежали на полу на охапках сена полуголые бойцы, сами будто сошедшие с библейских картин. Под сумрачными звонкими сводами эти одетые в рубища бойцы, их позы были исполнены какого-то глубокого смысла, и до сознания не сразу доходило, что заняты они самыми будничными

делами — кто чистил оружие, кто что-то латал... Несколько человек, сбившись в кружок, слушали политбойца — так называли красноармейцев-коммунистов. Большая же часть бойцов сгрудилась у граммофона с огромной латунной трубой, которая вполне соответствовала окладам икон и в то же время была противоестественной в этом месте. Голос, вылетающий из трубы, я уже слышал. Вдохновенный, стремительный, со знакомым грассирующим «р», он говорил о том, во имя чего мы несем лишения, о которых в далеком будущем, когда осуществляются идеалы коммунизма, будет помнить все человечество. Это была запись речи товарища Ленина.

С Галинским мы не были друзьями, и все же в тот вечер он почему-то обратился именно ко мне. Нас, младших командиров, вызвал к себе начальник пулеметной команды товарищ Загора, бывший унтер-офицер царской армии. На рассвете полк переходил в наступление. Предстояло форсировать Буг, а затем занять несколько сел в направлении к городу Холм. Мой расчет оставался в резерве, хотя бойцы так и рвались на тот берег в надежде поправить свое бедственное хозяйственное положение. Я обернулся к Галинскому и не узнал его. Обычно озаренное спокойным внутренним светом, лицо его было каким-то мертвенным, окостеневшим, в глазах Галинского застыл ужас. Он перехватил мой взгляд, улыбнулся через силу и сказал:

— Юра, ты не можешь пойти на передовую вместо меня? Я чувствую, что в этом бою меня убьют.

Слова его показались нелепыми, но произнес он их таким странным голосом, что я не стал его разубеждать.

— Хорошо, — сказал я как можно беспечнее. — Только поговорю со своим расчетом, а потом зайдем к Загоре.

Мои хлопцы, конечно, обрадовались такому обороту дела, а Загора без лишних слов согласился на замену.

— Спасибо, Юра! — пожал мне руку Галинский. — Никогда этого не забуду.

Я и мой первый номер, Ваня Мироненко, решили, не теряя ни минуты, добираться до переднего края, чтобы дотемна отрыть окоп для нашего пулемета. Солодуха и Ткаченко должны были подъехать на тачанке под прикрытием сумерек. Спустились в пойму реки, откуда до берега, где окопалась реденькая цепь наших стрелков, было с километр. Но не прошли мы и десяти шагов, как с высокого берега, занятого противником, застучал пулемет, и совсем рядом в жирной земле зачмокали пули. Короткими перебежками, ползком мы кое-как пробирались вперед, переводя дыхание за бугорками, которых, к счастью, было здесь в достатке.

Возле одного из бугорков мы наткнулись на нашего бойца. Видно, бедняга, как и мы, пробирался на передовую. Пуля попала ему в лоб — глаза вылезли из вздувшихся полиловевших орбит, на губах запеклась кровавая пена. Мы пытались перевязать его, но наша помощь была ему уже не нужна. Оттащив его к дороге, чтобы подобрать свои, двинулись дальше.

Окоп у нас получился на славу, чуть не полного профиля, и, когда пали сумерки и пойму заволокло туманом, на дороге, по которой скрытно подтягивались к переднему краю бойцы, мы встретили нашу пулеметную тачанку.

Спали прямо в окопе и не слышали, как всю ночь возились на берегу саперы, наводя мост, как по нему еще до восхода солнца перебравлась на тот берег часть наших бойцов...

Я проснулся от толчка:

— Пора, Юрко.

Рядом со мной сопел Ваня, натягивая сапоги. Занимался рассвет, над водой распадались розовые клочья тумана, черной ломаной линией тянулся на тот берег мост, точнее, мосток, по которому в еще ненарушаемой тишине бежали, выныривая из розовых завертей тумана, темные фигурки наших бойцов. Рассыпавшись по косогору, они с громкими криками бросились к вражеским окопам, откуда, беспорядочно отстреливаясь, начали выскакивать белополяки.

Наступление продолжалось недолго, противник усилил огонь, и наша цепь залегла. Укрывшись за пулеметом, собранным уже на этом берегу, я бил прицельно короткими очередями. Бой шел на окраине села. В пылу перестрелки я не сразу заметил впереди курицу с выводком цыплят. Она прогуливалась со своим потомством по ничейной земле, не обращая на огонь ни малейшего внимания, — и вдруг и та и другая сторона прекратила стрельбу. Курица, видно, неправильно истолковала наступившую тишину: огласив ее громким призывом, она на самом виду принялась усердно разгребать мусор. Цыплята потекли к ней желтыми комочками. Мы молчали. Молчал и противник.

— Брысь, курья башка! — прошептал Ваня, но курица его, естественно, не слышала.

Наконец то ли из нашей цепи, то ли со стороны противника кто-то не выдержал и пальнул. И тотчас затрещали ответные выстрелы. Косясь на выводок, который с прежней неспешностью перемещался к огородам, и заклиная эту глупую мамашу убраться наконец из зоны обстрела, дал очередь и я. Видимо, все мы испытывали примерно одинаковые чувства, иначе надо считать чудом тот факт, что курица и все ее пушистое семейство остались целы.

Тут к нам подоспело подкрепление, противник дрогнул, и мы еще часа два преследовали его, пока снова не натолкнулись на организованную оборону. Ставив пулемет с тачанки и замаскировавшись в картофельной ботве, я со своим вторым номером Андреем Солодухой продолжал вести огонь, в то время как мой Ваня отправился «на разведку» в ближайший сад. «Разведка» была успешной — вернулся Мироненко с котелком меда. Бой затягивался, и мы со стрелками начали понемногу окапываться. Мой пулемет замолчал — сломался боек ударника. Запасного у меня не было, и я получил приказ выбираться на дорогу и ждать смену.

На дороге было небезопасно — противник садил по ней из невесть откуда взявшихся орудий. Пришлось укрыться за старыми — в два-три обхвата — вязами, растущими обочь ее. За одним из стволов сидел Андрей Солодуха с бездействовавшим пулеметом, за другим — мы с Ваней. Мы наслаждались медом, поглядывая на Андрея, который не решался перебежать к нам. Лакомились по очереди, передавая друг другу котелок, а Андрей вытягивал в нашу сторону шею, гадая, сколько там осталось. И вот когда я передавал котелок Ване, совсем рядом, чуть не за нашим деревом, раздался оглушительный взрыв, и на нас посыпались срезанные осколками ветки. Одна угодила прямо в котелок. Я вынул ее, подставляя язык под тонкую медовую струйку и одновременно удивляясь, что Ваня не берет протянутый ему котелок.

Ваня сидел, внимательно глядя на свою левую ногу, — штанина ниже колена была прорвана, по ней расплзлось темное пятно. Я помог ему разрезать штанину ножом — в ноге зияло отверстие. Ваня сунул палец в рану, чтобы убедиться, что ранение сквозное, и будничным голосом сказал:

— Перевяжешь?

Я перевязал, выломал ему палку и вместе с Солодухой довел до повозки, отправлявшейся за патронами.

— Как же это мы с тобой, Юрко, а? — прыгал на одной ноге Ваня. — Выходит, расстаемся, а? Как без меня воевать будешь? — Ваня считал меня человеком, мало приспособленным к жизни.

Мне и самому было горько. За три года войны, еще на Уральском фронте, мы крепко привязались друг к другу.

— Ничего, — сказал я. — Скоро войне конец, так что встретимся. — Никто из нас не знал, что это последний наш разговор.

Мы с Солодухой ждали замену. Обстрел из орудий прекратился, только далеко впереди раздавались крики и одиночные выстрелы. Вскоре по дороге загремела наша тачанка. Ткаченко помог погрузить сломанный пулемет. От него-то я и узнал, что заменит нас Галинский. Галинский... Когда он наконец появился, снова какое-то недоброе предчувствие охватило меня.

Движения его были скованы, на посеревшем лице застыло выражение обреченности. Он отозвал меня в сторону и, еще более, чем прежде, смущаясь, сказал:

— Юра, сам видишь, какой из меня сегодня воин. Смерть чувствую. Никогда не чувствовал, а сегодня... Глупо, да? Юра, выручи еще раз?

— Андрей! — повернулся я к Солодухе. — Что, повоюем еще?

— Повуюем, — вздохнул Солодуха, отбрасывая пустой котелок. И, покосившись на Галинского, добавил: — А в следующий раз, глядишь, и он нас выручит...

Мы заменили на пулемете замок, и я на пробу, прямо с тачанки, дал вверх очередь.

Однако повоевать в тот день нам больше не пришлось. Только уехал Галинский, как мы получили приказ возвратиться на восточный берег Буга на свои исходные позиции. Мы быстро нагнали тачанку Галинского. Сзади еще слышалась вялая перестрелка, но артиллерия молчала. Мы с Галинским слезли с тачанок и пошли рядом, ведя под узцы лошадей. Галинский заметно ожил, стал рассказывать о сестре и матери, оставшихся в Белой Церкви.

Солнце стояло низко, его длинные лучи освещали пойму Буга, знакомый покосившийся мост и наш восточный берег с далекой, высоко вставшей на холме церковью. Ничего не изменилось здесь с тех пор, как начался бой, будто и не было его. Мы шли, вдыхая вечерний запах нагретой за день травы, запах воды, шли, намереваясь выкупать лошадей.

— А ударник этот, Юра, забирай себе, — сказал Галинский. — Я...

Фразу он не закончил и, схватившись за сердце, без звука повалился под ноги коню. Я рывком растегнул ему рубашку и попытался нащупать пульс — пульса не было. Вместе с Солодухой мы осмотрели грудь и спину, но раны не обнаружили. Мы перенесли его в нашу тачанку.

Переезжали Буг уже с мертвым Галинским.

Как потом стало известно, он был сражен шальной пулей, попавшей на излете в самое сердце. Пуля прошла у левого соска между ребрами и застряла у задней стенки.

Похоронили Галинского на кладбище в Гуще. На похоронах я не был, так как бои продолжались, и мы снова то наступали, то отступали.

Мне и теперь, когда я вспоминаю об этом добром красноармейце, становится грустно. Мой бедный Галинский, отдавший жизнь во имя идей социализма... Остался ли на земле кто-нибудь, кроме меня, кто помнит о нем? Не раз возникала у меня мысль поехать в Гущу и отыскать его могилу, да и не только его — там, на кладбище, похоронено немало нашего брата. Да, я мечтаю разыскать эту могилу, хотя через те места прошла еще одна война. Но позволят ли годы? Их у меня, надо полагать, осталось немного. Может быть, эти строки станут каким-то чудом известны людям, и они вместе со мной попечалятся о Галинском, истлевающие кости которого лежат на окраине далекого украинского села».

Дома мать так и не передохнула. Настирала и нагладила стопку пеленок — извечного больничного дефицита. Сергей, пристроившийся в кресле возле отца, неохотно поднялся, с сожалением откладывая отцовскую рукопись.

— Ну зачем ты пришла? — сказал он. — Я собрался тут ночевать.

— Ты не хочешь видеть меня?

Вместо ответа Сергей погладил ее по плечу.

— Ладно, ладно, — отстранилась мать. — Иди домой, поешь по-человечески. Мясо в холодильнике. Захочешь — разогрей.

— Лучше бы я остался, а ты выпалась. Хоть одну ночь.

— Ты забываешь, сын, что я ему жена. Ночью я, — мать сделала ударение на последнем слове, — должна быть с ним.

Июньский предполночный свет стоял над городом. Высушенная солнцем земля даже на закате не дарила небу облаков, и только на востоке, на притемненном небосклоне угадывались какие-то мглистые полосы. Закат вяло рдел сквозь удушливую гарь, и казалось, что город, как тяжелобольной, прерывисто дышит, раскрыв пересохший рот.

А дома, в родительской квартире, было прохладно, и самый воздух, и темные, но все же зеленые в протяжном северном полусвете купы деревьев на берегу Смоленки подсказывали, что рядом залив. Не хотелось зажигать свет, словно в полутьме квартира глубже втягивала в себя прохладу сумерек. Шторы шевелились, внизу под балконом шаркали прохожие, да изредка шелестели автомашины, пронося из конца в конец улицы огоньки подфарников.

Сергей в плавках, с яблоком в руке ступал босиком по прохладному паркету, по мягкому ворсу ковра, находя себе разные мелкие дела и продлевая редкое удовольствие быть наедине с самим собой. Жена и дочь на юге, а у него есть служба, есть часы дежурства в больнице у отца, и есть миг чистого вечернего одиночества.

В этот новый дом он с женой и четырехмесячной Катькой переехал восемь лет назад, в феврале. Дом был огромный — он тянулся во всю ширину Смоленского кладбища, которое в годы блокады шагнуло сюда через речку, да еще поворачивал крылом к заливу. Квартира их на шестом этаже выходила окнами во двор. За двором, за пятиэтажными домами более ранней застройки, за деревьями в парке, где в 1926 году при прокладке труб нашли в ящике с известью останки пяти человек, почему на том месте и возник обелиск, а сам остров получил название «остров Декабристов», — за всем этим лежал залив. По вечерам дальний берег посверкивал огоньками — там было Приморское шоссе, железная дорога на Лахту, Ольгино, Лисий Нос... И небо в той стороне в отличие от подсвеченного городского было глубоким и темным.

Сначала, взяв с собой Катьку, ездили сюда, только чтобы порядок навести: мыли, перекрашивали, приколачивали. Первым делом перевезли раскладушку, и Катька лежала в своем теплом коконе из пеленок и одеял, не спала, но и не плакала, походке, понимала, что происходит что-то новое и хорошее.

Вечера тогда стояли сырые, отмокшие от январских морозов, окно на кухне было приоткрыто, свет падал из него на ограду балкона — и они фантазировали вовсю, что вот летом можно будет на балконе обедать, подавая прямо из кухонного окна... Пахло масляной краской, и, чтобы она скорее высохла, весело горели васильками все три конфорки, а со двора, с залива, из заснеженных лесов, что по ту сторону, тянуло свежим, вечерним, предвесенним духом, и казалось, что жизнь действительно только начинается.

Его родители еще ютились в комнатухе на Гаванской — новый дом заселялся, как и строился, с одного конца — вторую квартиру обещали «довести» через месяц. В очереди стояли тринадцать лет, так что месяц теперь ничего не значил. Но получили все-таки не по очереди, а потому, что мать сама начала «действовать». Она бы начала и раньше, «если бы не батенька», на которого она всю жизнь безоговорочно полагалась. В конце концов мать навела справки о фронтовых друзьях отца, ставших один маршалом, другой — генерал-лейтенантом, написала им письма. Вот тогда все наконец и закрутилось и, прокрутившись, привело к решению на надлежащем уровне, и отца как старого большевика и ветерана двух войн перевели из очереди с бесконечным числом в очередь, состоявшую всего из одиннадцати человек...

Наконец и родители въехали в новый дом. Большая, светлая, с двумя балконами квартира, казалось, еще какое-то время существовала сама по себе, и вещи, которые понемногу появлялись в ней из прежнего жилья, не изменяли ее независимый просторный облик. Был конец марта, светило

солнце, все текло, таяло, искрилось, и вокруг дома из-под снега вылез строительный мусор — обрезки проводов, плитусов, доски, стружка, бочонки иссохшей краски, а дом с уже вычищенными до блеска стеклами стоял во всю свою семисотметровую длину, сияя белой плиточной облицовкой.

Даже на лестнице волнующе пахло новизной. Чтобы не ставить узлы на неотмытую площадку, Сергей изловчился нажать звонок подбородком — в квартиру часом раньше поехал отец. За дверью было молчание. Сергей еще раз надавил подбородком — звонок голосисто прозвенел в пустых, отдающих эхом комнатах. Пришлось лезть за ключом. Дверь подалась, и Сергей ослеп от солнца. Огромные дрожащие кубы теплого света заполняли кухню и коридор, по потолку пробегали серебряные дорожки. Отец был в большой комнате. Он сладко спал на полу, на газете, повернувшись на бок и подложив под щеку обе ладони. В ногах, на отдельном газетном листе, стояли его ботинки...

Рождение Кати придало новый смысл жизни отца. Правда, он еще ходил на службу, цепляясь за любое поручение и огорчаясь, что на работе в его присутствии все громче поговаривают о сокращении штатов, но не работа, а именно внучка стала его главной заботой и страстью. Сначала Катя была слишком маленькой, чтобы можно было рассчитывать на помощь деда, и все-таки он ежедневно приходил повидать ее. Потом его стали оставлять с ней, пока она спит, а вскоре доверили дневные гуляния. Почти в любую погоду он проводил с ней на воздухе не менее двух часов — и это было большим подспорьем, так как Галя имела способность мерзнуть даже в летнюю пору, а Сергей с утра до вечера пропадал в университете. Только по воскресеньям он выходил заменить отца, и именно по воскресеньям у них чаще всего и возникали конфликты. Сергей считал, что в Каткиных простудах виноват дед. Тот не угадывал момента — и мокрый ребенок переохлаждался и зарабатывал то насморк, то катар с жутким кашлем, не проходившим неделями.

— Да я проверял, проверял! — оправдывался отец, с трудом поспевая за гневливо уносящим дочку Сергеем. — Она же была сухая.

— Это тебе только показалось, — на ходу бросал через плечо сын, прижимая к себе не приученную проситься дочь, и ускорял шаги.

— Подожди, я не могу за тобой угнаться... — раздавалось сзади. Несколько секунд Сергей шел молча, мстительно чеканя шаг и захлебываясь праведным гневом. Но, оглянувшись, он видел, что отец действительно отстает и из последних сил, прихрамывая, поспешает следом — тут он утрачивал ожесточение и уже просто горестно стоял и ждал, пока отец нагонит их. С Галей у отца конфликтов не было вовсе, но она все-таки рассказывала о его промахах, и тогда Сергей озлоблялся на нее:

— Ну что ты меня травмишь... Не хочешь, чтобы он приходил, справляйся сама.

— Да ты не понял, — сердилась она. — Юрий Васильевич мне очень помогает. А если ты устал, иди и полежи. Нечего психовать.

— Я не психую.

— Нет, психуешь.

По правде говоря, первые два года после рождения Катки он очень уставал. И от неустойчивого своего положения на кафедре — почасовик, — и от хронических недосыпаний — по ночам к ребенку чаще вставал он, Галя спала как убитая, — и оттого, что семейная их жизнь превратилась в нескончаемую череду дежурств, даже в кино бегали по очереди.

А отца с Катей знал уже весь двор. И когда с дочкой гулял Сергей, незнакомые ему люди справлялись у нее о дедушке.

— Дедушка в магазине, — как правило, отвечала Катка. Потому что если деду не поручали внуку, бабушка отправляла его в магазин.

— Что ты его все время гоняешь? — спрашивал сын.

— Я гоняю? — удивлялась мать. — Он сам просит. Ты же знаешь, он не может сидеть без дела. Пусть походит, ему полезно двигаться.

Двор был большой, и по выходным малыши с мамашами бродили по кучам свежего песка, завезенного под будущий асфальт. С некоторыми из этих молодых мам отец подружился, знал их истории и судьбы. Сын сердился — не в ту сторону было направлено внимание отца. Судьбы эти были не слишком складны, отец пересказывал их матери, сокрушенно качая головой. Почему доверялись ему эти вчерашние девчонки, годившиеся во внучки?

— Может, ты объяснишь мне, старику, что происходит? — обращался он к сыну. — Молодые женщины, красивые, здоровые, неглупые, и дети славные — а семьи фактически нет. У одной муж пьяница, у другой вообще ушел. Смотрю на них и по глазам вижу, что мужик им нужен, нормальный мужик. Что же это такое, объясни, куда мужики подевались? Будь я лет на шесть-семь моложе, я бы, кажется, взял бы и... Нет мужиков. Это же ненормально...

Наверно, он имел в виду ту молодую мамашу, с которой Сергей видел однажды отца. Она была из тех, что сразу становятся женщинами, перешагнув через юность, через девичество в заботы, в материнство. Гуляя с маленькой своей дочкой, она глядела на мир такими грустными глазами, будто недоумевала — куда что подевалось. Завидев ее, отец словно вдруг забывал, что рядом с ним внучка, поспешал навстречу, приветливо улыбаясь.

Как-то Сергей вышел во двор, чтобы забрать Катьку. Он собирался с ней в «Детский мир» и еще удивился тому, что отец вопреки обыкновению не выразил желания их сопровождать. Отец остался сидеть на скамейке, и уже из-за кустов акации Сергей увидел, что отец на скамейке не один. Рядом с ним сидела молодая женщина, и вид ее выражал странную, похоже, приятную ей самой покорность, а отец, с незнакомым, помолодевшим, ласково-властным лицом, наклонился к ней, заботливо и неуклюже смахивая что-то носовым платком с ее плаща. Это обожгло тогда Сергея, словно отец посягал на незыблемые основы их собственной семьи. Но еще его пронзила тогда мысль, что отец, ИХ ОТЕЦ, сейчас был вовсе не с ними.

Где они, эти молодые мамашы, куда канули? С кем-то из них Сергей еще несколько лет продолжал здороваться, и кто-то спрашивал его об отце. Только двор словно опустел, дети выросли и пошли в школу, и мир их переместился дальше за дорогу, через которую переводили, крепко держа за руку, а здесь, в песочнице, уже копошились другие малыши в окружении других мам, ничего не знавших про пожилого жизнерадостного мужчину, который только однажды, после долгого перерыва, в дождливый вечер показался на дворе, не замеченный никем.

В первое же лето — Кате было девять месяцев — решили везти ее в деревню на парное молоко. И тут старик заволновался, и невозможно было слушать его ни с чем не сообразные доводы против поездки:

— Это же глушь, дыра, ни врача, ни поликлиники, ни детской кухни... А если Катенька заболит? Или с тобой что-нибудь случится?

— Ну что вы говорите, Юрий Васильевич! — обижалась Галя. — Это же моя родина.

— Я их отвезу, — говорил сын, — понимаешь? От-ве-зу.

— А! — махал рукой отец, и в глазах его было остервенение тревоги. — Какая на тебя надежда?! В общем, ребята, — складывал он перед собой ладони и смирял тон до истерической мольбы, — если вы не хотите моей смерти, христом-богом прошу, закликаю, не делайте этой глупости. Не делайте, если я вам хоть чуточку дорог. — Сидя в кресле, отец подбирал ноги и наклонялся вперед, будто собирался бухнуться на колени.

— Ну, отец, это уже запрещенный прием! — растерянно переглядывался Сергей с Галей.

Порешили на том, что отец тоже поедет.

Ехали на поезде день и ночь, утром автобус довез их до районного центра, оттуда добрались до поселка. Дальше надо было идти пешком. Сергей тащил неподъемную сумку, Галя несла на руках Катю, отец шел налегке. Было начало июня, день выдался теплый, ясный, нежно зеленели поля, и легкий ветер оглаживал свежие кроны выстроившихся вдоль дороги лип и кленов. Катя заснула па руках, и Галя ушла вперед. Отец отставал, как всегда, но его не поторапливали, и он держался молодцом. Сергей время от времени останавливался, опуская на землю сумку и поджидая отца.

— Давай понесем вместе, — предлагал отец, — я чувствую себя вполне в силах.

— Спасибо, бать, пока не нужно.

На холме перед зеленым овражком, уже в виду деревни, сделали привал. Катя открыла глаза, почмокала и снова заснула. Сергей расстелил на траве клеенку, поверху — махровое полотенце, и Галя осторожно положила дочь. Чтобы ветер не разбудил ее, в головах поставили сумку, натянули сверху марлю. Ветер шевелил края марли, Катя спала, раскинув ручонки, а они сидели рядом и тихо переговаривались. Вид деревни успокаивал, последние волнения отца улеглись, они сидели втроем возле спящей Кати, и было так хорошо, что дальнейший путь казался необязательным.

Несколько дней их изба притягивала всю деревню, и мужики приходили к отцу поговорить. Говорили больше о войне, которую все понюхали — кто в оккупации, кто в партизанах, кто на передовой, был даже дезертир, отбывший наказание, — но получалось так, будто воевал один отец, потому что звание полковника было для мужиков все одно что полководец. Отец поначалу смущался, отделяясь общими фразами, а потом и его подхватило, и сын испытывал неловкость, хотя говорил отец не о себе.

Потом Сергей уехал, а отец остался с Галей — «помогать». Через дней десять вдруг вернулся и он. Что там стряслось, Сергей так толком и не узнал. Впрочем, Галя как-то проговорила, что он не поладил с ее матерью, ревнуя к ней внучку. Сам отец о разногласиях не сказал ни слова и объяснил все тем, что в средней полосе ему становится хуже.

Вернувшись, он каждый день писал для Кати по открытке. Сергей, приехавший в конце лета в деревню, чтобы забрать свою семью, всюду наталкивался на эти многочисленные почтовые отправления — ими накрывали крынки с молоком, ставили на них чугуны...

Потом у отца заболели ноги, и путь на работу и с работы стал для него испытанием. Несколько раз за рабочим столом он терял сознание. Матери он говорил:

— К счастью, это происходит со мной только в помещении. А представь, если я сковырнусь на улице...

У пристани на Малой Неве высились горы выгруженного с барж песка. С этим песком по улице, которую дважды в день пересекал отец, гоняли в новые застраивающиеся кварталы грузовые машины.

...Они были еще далеко — две тяжело нагруженные песком «татры», — но отец подумал, что ему надо бы поторопиться, и прибавил шагу... Очнулся он от того, что его резко подняли и поставили на ноги, и он никак не мог взять в толк, почему оказался на середине улицы. Поодаль, сыпанув на асфальт веер песка, стояла, попыхивая вонючим дымком, «татра». Другая проехала дальше, наскочив передним колесом на бровку тротуара. Ее мотор тоже работал, и от машины бежал к месту происшествия водитель в замасленном комбинезоне. Первый, тот, что поднял его — крепкий, с широкой грудью мужик, — матерясь, намеревался тряхнуть его еще разок — отца приняли за пьяного.

— Я им говорю, — рассказывал он сыну: — «Милые мои, надо было давить. Суд бы вас оправдал. Ну а раз все мы, кажется, остались живы и здоровы, заходите после работы ко мне. Мне хоть и нельзя пить, но, думаю, по такому случаю...»

Расстались они друзьями.

— Да... — сказал отец через несколько дней.

— Ты о чем? — поинтересовался сын.

— Видимо, смерть повредила со мной.

Когда он перестал ездить на службу, стало спокойнее, но сам он жестоко мучился от безделья, тем более что дело, которым он занимался последний год, без него встало — он возглавлял творческую группу по составлению русско-немецкого электротехнического словаря.

— Все-таки мне непонятно, — жаловался он, — как это у нас не по-хозяйски относятся к старикам. Я же бесплатно работал. Это же государству невыгодно оставлять меня не у дел.

Однажды он вернулся домой оживленный — районной библиотеке понадобился библиограф, и его вроде согласились взять.

— Я посмотрел их фонды. Работы — на полгода. Но на работу его не приняли — помешало какое-то положение о пенсионерах. Глядя на его терзания, мать не выдержала и пошла в райком партии. В общем отделе ответ был тот же. Тогда она записалась на прием к секретарю. Тот внимательно ее выслушал, и дело разрешилось в одночасье. Только заведующая общим отделом все не могла успокоиться и осторожно выговаривала матери:

— Зачем же так — сразу к секретарю... Вы бы нам объяснили, что речь идет о ветеране партии... — как будто и не держала в руках два дня назад его учетную карточку.

Проработал отец не полгода, как намеревался, а втрое меньше, потому что через два месяца весь библиотечный фонд был им описан.

— Ну что ж ты, отец, делаешь? — возмущался Сергей. — Кому нужна твоя сверхорганизованность? Работал бы потихоньку-полегоньку.

— Прости, сын, — простодушно извинялся он. — Виноват.

— Ты, прямо, как ребенок. Сам ведь говорил, что работа скучная и утомительная. Ну куда ты спешил?

— Прости дурака.

И еще было лето, когда они оказались вчетвером: отец, Сергей и Галя с Катькой. Мать уехала в санаторий, а они остались в городе и все свободное время проводили на заливе. В километре от залива тюкали в сваи автоматические бабы, смачно выхлопывая порции черного, жирного дыма, а дальше, до самой воды, тянулся заросший высокой травой и ивняком пустырь, полный птиц. В небе, трепеща тупыми крылышками, заливались жаворонки, от залива тянуло застойным мелководьем, за этой гладью низко стелился дальний берег, и, как водомерки, безуспешно скользя по воде, выкатывались из устья Малой Невы белые «Ракеты» и «Метеоры», с утробным рыком беря разбег на Петродворец, затерянный в дымке проложенного, ими коридора.

В ту пору где-то в Рейкьявике Спасский сражался с Фишером, и вся Европа, а может, и Америка тоже, играла в шахматы. Да и Сергей не расставался с шахматами — он прыгал с ними с бугра на бугор на пути к воде, и фигурки погромыхивали в шахматной коробке, как дизели «Метеоров». Все ждали — вот-вот Спасский догонит коварного Фишера, и его неожиданно быстрая победа в одиннадцатой партии рассматривалась как перелом. До того чтобы разбирать сами партии, они с Галей не поднимались, но играли много и азартно, и от собственных красивых ходов кружилась голова.

А может, кружилась она от того, что было лето, легкий ветер синил чешуей воду, доносился отдаленный гул города, качались над головой ромашки, расцветшие в необыкновенном количестве, и была еще молодость с ее беспричинно распирающей грудь радостью. Радости было больше, чем тревоги.

Дома их ждал отец. На залив он с ними не ходил — солнце было ему противопоказано. Но уже с мая лицо его покрывалось крепким красивым загаром, светло-голубые глаза становились еще ярче, а седина — веселее. Когда возвращались после купания, Галя устраивала грандиозный обед. На больших дорогих тарелках, остатках чужой роскоши, купленных на послевоенном рынке, она выкладывала букеты из овощей и фруктов вокруг исходящих нутряным соком, дышащих антрекотов, и из высокой трехлитровой бутылки, вид которой непременно вызывал оживление очереди у пивного ларька, Сергей наливал холодного «Жигулевского» пива, обжигающего десны несравненной терпко-сладкой горечью.

Отец встретил Сергея безучастным взглядом. Он медленно переводил глаза с жены на сына, привыкший к чередованию их лиц над собой, затем, выпростав из-под одеяла послушную ему левую руку, глядел на свои пальцы и делал попытку положить ладонь под затылок, но сил на это сложное движение не было, и оно обрывалось, едва обозначившись.

— Вот тут, — суежилась побледневшая, с припухшим лицом мать, — тут салфетки, платки, обтирай его влажным платком, ему приятно. Утку я ополоснула. Пролежни его мне не нравятся. Я протерла камфарным спиртом, присыпала, но вечером еще посмотри, тальк в тумбочке. Если самому не повернуть, позови сестру... Есть он не стал... — Лицо матери выразило озабоченность и вину. — Покорми, если захочет.

Сергей нетерпеливо кивал — ему хотелось остаться с отцом одному. Но мать слишком устала, чтобы уловить его настроение.

Соседа — маленького старика в ногах у отца — опять взволновало появление в палате нового человека, и он все звал сына Гену.

— Бедняга, — горестно вздыхала мать, — он еще хуже, чем наш батенька. Совершенно беспомощный. Я его кормила сегодня... Гена совсем замучился. На даче у него жена с маленьким ребенком. Тоже свои сложности. Через день туда продукты возит. И каждый день после работы — сюда. Мать давно умерла. Вот он и разрывается.

Обернувшись, она громко сказала:

— Был уже Гена, Святослав Захарьевич. Вы с ним только-только расстались. — И, подойдя к старику, ласково и внушительно объясняла: — Гена придет к вам завтра. А сегодня он уже был. Вам что-нибудь нужно? Ты тут помоги, если что, — обернулась она к сыну.

— Конечно, мама.

— Ну... — взглянула она на отца, — кажется, все... Я пошла... вот только, — и снова принялась что-то перебирать.

— Я чувствую, тебе не хочется уходить.

— По правде говоря, — выпрямилась мать, — да. Я как-то уже привыкла тут.

— Тебе все равно надо отдохнуть.

— Да, — закивала мать, становясь серьезной, словно пыталась подумать о себе, но тут же забывала и снова обихаживала отца и, заглядывая ему в глаза, говорила:

Батенька, я пошла. С тобой остается сын.

Ничто не изменилось в лице отца, и она, чтобы подтвердить сказанное, пожала ему руку.

— Обмахивай его полотенцем... — Мать подхватила со спинки кровати вафельное полотенце и стала быстро, как тренер между раундами, размахивать им перед лицом отца.

...Чугунная жара снова обжигала город, она вливалась из окна, как из открытой печной дверцы. Старики, сморенные ею, лежали, только старик с глаукомой сидел в наушниках на кровати и подавал реплики.

Наконец он вскочил и зашагал по палате, высоко держа взгляд:

— Опять Картер ставит Ирану ультиматум. Это бандит какой-то. Вы слышали?

— В сегодняшних газетах напечатано,— шевельнулся розовоголовый Петр Иванович, приподнялся на локте и перебрал на тумбочке газеты в подтверждение своих слов.

— А... — с досадой отмахнулся старик с глаукомой от недоступных ему газет.

— Капиталист, что вы хотите, — продолжал Петр Иванович, аккуратно перенося ноги в проход между кроватями, — арахисовый плантатор. Читал, Григорий Никифорович? — спросил он соседа, почесывая целлулоидную лысину.

Григорий Никифорович, похожий на неандертальца, лежал к нему спиной, его спутанные волосы топорщились вокруг старой квадратной головы, из-под кустистых бровей прямо на Сергея смотрели горестные плачущие глазки.

— Григорий Никифорович, оглох, что ли?

Отец вопросительно посмотрел на сына, словно заинтересованный тем, что говорят вокруг него. Он уже двое суток не ел, лицо было покрыто нездоровым румянцем. Сергей вынул градусник — тридцать семь и семь. Температура не спадала. Врач сказала, что самое опасное в этом состоянии — отек и воспаление легких. С утра отцу делали инъекции антибиотиков.

— Хочешь пить? — спросил Сергей, повторив отцовское движение бровями, словно и ему самому было трудно говорить.

Отец вытянул губы, пытаясь что-то произнести:

— Бу... бу... бу...

— Будешь, — понял сын. Отец прикрыл глаза.

Сын взял с тумбочки поильник — в нем плавали раздавленные дольки апельсина. Отец послушно глотал, но и это ему было трудно, вода стекала по подбородку.

Отца это беспокоило.

— Прости, папа, — Сергей поспешно взял полотенце и вытер его.

Отец смотрел на него, и взгляд его был добрый и понимающий.

Сергей улыбнулся:

— Может, поешь?

Лицо отца ничего не выразило.

— Хотя бы меду, будешь?

Снова губы отца вытянулись вперед для трудного первого звука «б».

Сергей брал мед на кончик чайной ложки и подносил ко рту отца, но отцу было не справиться, и сын оставлял тающий комочек прямо на его губе. Отец шевелил языком, и видно было, что он ощущает вкус меда и это ему нравится. Он послушно подставлял рот, не отрывая от сына сосредоточенного взгляда, — такое выражение было у Катьки, когда Галя кормила ее грудью. Он скоро устал, глаза его ушли в сторону, к потолку, и в них снова возникло удивление и

беспокойство, потому что рядом со знакомым — сыном, женой — было что-то иное, незнакомое, и никто ему не объяснял, что же это, а он сам спросить не мог.

«За все три года боев с уральским казачеством от сабель и огня не погибло столько чапаевцев, сколько погибло их от тифа за два месяца продвижения от Уральска к берегам Каспийского моря. Из 60 тысяч бойцов осталось не более 25 тысяч. Да и оставшиеся жестоко болели. Во время нового, тяжелого, но бесповоротного наступления 25-й Чапаевской дивизии на город Гурьев, заразившись тифом, свалился и я.

Завшивели мы не столько потому, что в зимнем наступлении 1919 года не мылись в бане, сколько потому, что в аулах, которые мы занимали, — в этих грязных, дымных пристанищах киргизов, уже вернувшихся на свои зимовки, — вши в то время были неизбежным злом.

Войдя в такую зимовку, я обычно спрашивал у киргизов, сидевших на войлоках, которыми был услан пол их саманного жилища:

— Битюг барма? Вши есть?

Киргизы обычно отвечали, что на войлоке, где они сидят, вшей нет. Они говорили неправду. В большом количестве вши были и на войлоке и в одежде. Не раз я был свидетелем того, как киргизки, не стесняясь нашего присутствия, покусывали швы своих одежд. В молодости у меня был хороший слух, и я слышал, как лопаются наиболее тучные паразиты.

Вошь, которая наградила меня сыпным тифом, я, кажется, видел собственными глазами. Один из пулеметчиков, уже выздоравливающий после перенесенного тифа, как-то попросил меня выстирать ему белье. Оно кишело паразитами, и, когда я стирал его перед кипячением, я заметил крупную вошь у локтя на левой моей руке, она как будто встала на дыбки и впилась в руку. После этой стирки я и заболел.

Мы стояли в казачьей станице, из которой убежали почти все жители. Кто-то из медсостава полка зашел в дом, где мы разместились, и, узнав, что я болен, дал направление в полковой госпиталь.

Деревянное двухэтажное здание госпиталя — бывшая школа — находилось в конце переулка, около реки. Дул ледяной ветер. Я нес одеяло и ранец. Поднявшись на террасу, ткнул ногой дверь и остановился на пороге. В нос ударил такой гнилостный и смрадный дух, что я заколебался. Навстречу вышел санитар — пожилой солдат с бритой головой — и, ничего не спросив, повел внутрь по зловонному коридору. Санитар указал на свободное место в углу полутемной комнаты, я бросил на пол одеяло. Я уже собирался опустить ранец и лечь, как вдруг увидел, что на моем одеяле появилась траурная кайма — это ползли вши. В ужасе я нагнулся над полом — он был черен от вшей. Их месиво змеями перекаtywалось, извивалось на полу — только теперь я осознал, что это все время хрустело под ногами. Рядом лежал человек, он спал. Рот его, подбородок, глазницы — все было облеплено вшами. Я понял, что это конец. Я обернулся к санитару и сказал, что предпочитаю умереть на дворе. Несколько бессильно валявшихся на полу больных приподнялись и смотрели на меня с завистью и злобой. Я быстро пошел обратно, стараясь не слышать треска под ногами.

Снаружи было чисто и холодно. Я спустился к реке, забрался под перевернутую лодку. Одеяло осталось в больнице, но со мной был ранец. Я положил его под голову и закрыл глаза. Умирать мне не хотелось.

Вскоре, несмотря на жар, я так окоченел, что вылез из-под лодки и поплелся к своему дому. Подобрала меня возле порога хозяйка. Выругав за то, что я ушел, ничего не сказав ей о болезни, она, невзирая на мои протесты, раздела меня, вымыла горячей водой, дала теплое белье покойного мужа и уложила в постель.

Кризис, как это бывает при тифе, наступил на тринадцатый день. В бреду мне казалось, что я лежу под огромной купеческой шубой из серого волчьего меха и вместе со мной лежит маленький мальчик. В руках у меня большая кастрюля, и я, задыхаясь от жара, достаю из нее блины, а мальчик их ест. Под шубой невыносимо душно, но мальчик просит не откидывать ее, так как он мерзнет. Уступая мальчику, я не откидывал шубу весь день и всю ночь, а утром, очнувшись, убедился, что шубы нет, мальчика с блинами нет и мне совсем не жарко. Еще через день на попутных подводах я догнал свою пулеметную команду и с ней, благо полк занимал одно селение за другим, в январе 1919 года вошел в город Гурьев».

Из дому отец перестал выходить два года назад. Почти все время он лежал. День и ночь у него сместились, и, бывало, под вечер он спрашивал у сына:

— Ты уже на работу?

Чтобы отвлечь мать от забот, сын почти каждый день заглядывал к ним. Она его ждала, чтобы рассказывать об отце. Жаловалась:

— Опять хулиганил, — будто дело было не в старости, а в болезни, которую можно излечить. Мать дважды ставила его на ноги после инсультов и считала, что так будет и впредь, словно жизнь его целиком и полностью зависела от ее усилий и тех редких дорогих лекарств, которые не без труда удавалось доставать.

Иногда вместо сына прибежала Галя. Но с годами отношения женщин не упростились, и мать холодно говорила ему в телефонную трубку, что лучше уж будет одна. Она считала невестку плохой хозяйкой, плохой женой и плохой матерью. Семейный груз ее сын тасил один. Сын был не ухожен и не накормлен, и, глядя, с каким аппетитом он ест у нее, многозначительно вздыхала. Немало лет сын потратил на то, чтобы женщины поняли друг друга, а потом махнул рукой — жгучая, ядовитая боль, возникающая при этих разговорах, притупилась, и ему стало почти все равно. Только и осталось, что у себя дома он защищал мать, а у матери — жену. Поэтому обе говорили, что он их предал. Разговоры эти когда-то огорчали отца, но теперь их почти не вели, а если б и вели — он бы уже мало что понял.

С годами Сергей открыл, что, оказывается, не все можно разрешить миром между двумя людьми, даже при самом искреннем их намерении. Натура уступала добру не до конца, упираясь в свою собственную косность, как во спасение. Может, тут и обнаружился биологический закон самозащиты? Но что следовало, а что не следовало защищать?

Сын любил оставаться вдвоем с отцом. Времена, когда отец бывал крут и сын его побаивался, прошли — старость отца сделала их друзьями. Никто не нападал, следовательно, и не защищался. Но и прежде, всегда, с отцом было светлее, чем с матерью.

Год назад Сергей впервые вымыл отца, испытал сложные чувства. Беспомощность этого некрасивого старческого тела, дряблого и твердого, сальные синие пробки на спине, желтые кривые ногти на ногах, пораженные грибком, — все это вызывало легкое отвращение, но жалость и любовь были сильнее, и сын открывал в себе неизвестные запасы нежности и терпения. Мыл везде, хотя до последнего момента надеялся, что отец управится сам, — потом, чуть не постанывая от напряжения, поднимал его из ванной, усаживал, вытирал, смазывая ноги какой-то голубой мазью, и долго, сам измокнув, натягивал на отца носки, кальсоны, нижнюю рубашку. Отец, уставший не меньше его, безучастно сидел на табуретке, распаренное лицо покрывали крапины пота; от его чистого тела шел химический запах старости.

Все это время Сергей ощущал за дверью незримое присутствие матери, и, хотя она сказала ему, что иного не ожидала, «иначе бы ты не был моим сыном», он почувствовал, что сделал для нее что-то большее, чем сам мог оценить. Сделал в тот момент, когда на него уже не рассчитывали. И это заставило его призадуматься и пересмотреть сложившиеся между семьями

отношения. Жена не стала возражать против его намерения ночевать хоть бы раз в неделю у родителей:

— Что ж она молчала, надо было давно сказать. Я бы сама помогла.

— Ты прекрасно знаешь, что мать не скажет. Мы должны сами соображать.

— Только, пожалуйста, без намеков. Тоже мне, «отцелюбие римлянки»...

С трудом Сергею удалось уговорить мать съездить в Куйбышев к сестре — передохнуть, набраться сил. Теперь он приходил к отцу сразу после работы, разогревал обед и мыл тарелки, оставшиеся от завтрака. Но иногда завтрак оказывался нетронутым, как и таблетки подле стакана с водой, и отец, приковыляв на кухню, ошеломленно пожимал плечами:

— Прости, сын, забыл.

Ел он долго, держа вилку, хлеб, стакан прямыми, неслушающимися пальцами, и в середине еды вдруг вспоминал про вставную челюсть. Он ее постоянно терял, как и очки, и сын находил то и другое в самых неподходящих местах.

— Как же ты ешь, отец? — качал сын головой.

— Не понимаю... — переспрашивал отец.

— Я говорю, как же ты ешь без челюсти?

— Какие листья?

— Всё, ладно, — отворачивался сын, — я ничего не сказал.

— Ем как-то, — кротко отвечал отец. После еды он медленно говорил:

— Спасибо, сын. Еда была вкусной... разнообразной... и вообще... великолепной.

Не сразу сын заметил, что независимо от еды отец повторяет одну и ту же фразу.

Затем отец уходил в свою комнату.

— Укрой меня, как ты умеешь, — просил он, и сын накрывал его одеялом, подтыкая в ногах особым образом. Если болела нога, особенно правая, он натирал ее гепариновой мазью и, массируя икру, чтобы мазь впиталась, каждый раз боялся, что повредит сосуды, тонко ветвящиеся под прозрачной кожей. Он укладывал отца, как тот говорил, «фундаментально», взбивал — «взбулгачивал» подушку, натягивал простыню, чтобы ее складки не исполосовали спину, целовал в колючую к вечеру отцовскую щеку и, пожелав спокойной ночи, спешил к разложенным наброскам докторской диссертации. Но не проходило и десяти минут, как раздавался голос отца:

— Сын!

Сергей шел к нему:

— Что, папа?

— Накрой мне ноги.

— Я же тебя накрыл.

— Плохо накрыл.

— Все. Теперь хорошо?

— Хорошо. Принеси воды. Подожди.

- Что?
- Какое сегодня число?
- Двадцать восьмое октября.
- Ты мне скажи, когда мать обещала вернуться?
- Когда позовем.
- Тебе не кажется, что нам нужно ее вызвать?
- Зачем? Разве нам с тобой плохо?
- Нам с тобой хорошо... Ты идеальный сын... Только мне кажется, что я... что я отвлекаю тебя от дел.
- Конечно, если ты будешь звать каждые десять минут...
- Прости. Обещаю тебя больше не беспокоить. Иди работай... Сын?
- Что?
- Подбери мне какую-нибудь книгу. А то я все прочел.
- И «Анну Каренину»? Я же дал тебе ее три дня назад.
- Я прочел.
- Ну и как?
- Я читаю ее пятый раз. Прежде она мне нравилась больше.
- . — Странно. Это лучшее, что написал Толстой.
- Может быть... Я не так, как ты, подкован в этой области. В общем, подбери что-нибудь. Только не тяжелую. Чтобы я мог держать в руках.
- Достоевского?
- От него я заболеваю. Дай мне Бунина... Сын!
- Что, батя? Я иду за Буниным.
- Почему Галя к нам не переселится? Пусть берет Катю и живет у нас, пока матери нет.
- Через час в коридоре раздавалось тяжелое шарканье, и в проеме двери возникала фигура отца. Когда он лежал, лицо его было моложе и мужественней. Теперь оно висело всеми складками, как халат, который он нацепил на себя. Завидев сына, склоненного над столом, отец начинал улыбаться:
- Можно посидеть с тобой?
- Садись. — Сын выдвигал в его сторону кресло, отец, топчась на месте, прицеливался, с трудом опускался в него и, нагнувшись, клал на пол — ручкой к себе — палку.
- Много написал?
- Две страницы.
- А сколько должен?
- Страниц семь.

— Ты работай, я просто посижу.

Он сидел, а Сергей писал, чувствуя, что отцу приятно смотреть на него.

Однажды Сергей увидел, как отец целует их семейные фотографии, поцеловал он и фотографию сына, будто теперь только так и мог выразить свою любовь к этим вечно куда-то спешащим людям.

...В тот злополучный вечер Галя привела Катю и умчалась по своим делам. Кате нужно было погулять.

— Я с вами, — сказал отец. — Осточертело лежать.

Пока он одевал отца, на улице пошел дождь. Но такими долгими и мучительными были сборы, что опять раздевать не было сил. Взяли зонт и двинулись по двору к детской площадке. Там была подвесная скамейка с козырьком. Но от нее висели только цепи. Отец начал постанывать, хромота его с каждым шагом усиливалась.

— Потерпи еще немного, — говорил сын, и в походке отца чувствовалось отчаянное усилие воли. Катя шла сбоку, так что с зонта лило на нее, и растерянно смотрела на своего деда. Обошли здание, но и за ним не было ни одной скамейки. Отец стал заваливаться на правый бок, и Сергей его почти тащил.

— Ой, ой! — страдальчески вскрикивал отец, забыв, что рядом внучка. Наконец он повалился на какую-то лавочку, и сын поправил его неловко подвернутые, будто чужие, ноги.

— Вот, возьми зонт, посиди, отдохни. Мы пока с Катей немного побегаем, а потом двинемся обратно, — сказал он весело. Но в сердце был страх.

Дождь не унимался, и они скоро вымокли. Отец сидел под зонтом неподвижно. Завидев их, сказал: «Я готов», — и сам приподнялся. Егохватило на несколько шагов.

Обхватив сзади, Сергей с трудом волок его. Семилетняя Катя старалась держать над ними зонт, но, как ни тянулась вверх, спицы кололи Сергею лицо.

— Убери его совсем! — крикнул он сердито.

Во дворе было темно и пусто, только лужи, отражающие свет окон, мигали под дождем. С трудом дотащившись до парадной, Сергей стал поднимать отца по ступенькам к лифту. По лицу отца струился пот, дышал он тяжело и часто, тело его мелко дрожало. Два подростка юркнули вперед в раскрывшуюся кабину.

— Что это с ним? — спросил один из них испуганно.

— Старость, — сказал Сергей, сам вдруг поразившись этому слову.

С тех пор отец больше не выходил, и вина перед ним прочно засела в сыне.

Была у Сергея одна черта, которую он, распознав, стал бояться. Ее можно было бы даже назвать страстью, если б она не была замешена на педантизме. И все-таки она была — жажда совершенства. Она была разрушительной, потому что никогда не довольствовалась результатом. Потому, что любой итог становился компромиссом между тем, что есть, и что могло бы быть. От пустяка — красавца кораблика, кропотливо собираемого в течение полугода, у которого катастрофически треснул корпус, когда бес шепнул, что надо глубже закрепить киль, — до кандидатской диссертации, с которой он провозился шесть лет, замороженный процессом перманентного прорастания в хорошем лучшем. То же — и в отношениях с окружающими, с природой — то, что есть, что сейчас, — это только прелюдия к тому, что будет. Он постоянно обкрадывал себя во имя этой неизбывной дьявольской жажды, пока не почувствовал, что уже

немолод, что, пожалуй, стал даже хуже, чем раньше... И это тоже явилось для него открытием: что с годами жизнь его в известном смысле становится хуже — жизнь, или он сам, или состояние его духа. Как говорил Гёте, с годами испытания усложняются.

Страсть же действительно стала смахивать на педантизм. А кто такой педант? — рыцарь, если не раб, привычки. Если бы его тогда не сверлило, что Катя должна обязательно погулять, отец бы не надорвался. Но что-то похожее случилось и раньше — когда отца в последний раз выписывали из больницы. Сергей приехал за ним после обеда, как и обещал, хотя надо было бы после завтрака, а старик то ли забыл, то ли что-то перепутал и с шести утра, побрившись и собрав вещички, прихрамывая, шлепал по коридорам, выглядывая в окна и двери. И к тому времени, когда сын наконец приехал, лицо отца осунулось и почернело в муке тревоги и ожидания, и то, как он с безумным взглядом растерянно развел руками, забыть нельзя.

Пока ждали такси, отец сидел, не расстегивая пальто, в проходной и все повторял, покачивая головой, как бы изумляясь самому себе:

— Да, сынок...

Он весь взмок от нахлынувшей слабости и в машине на поворотах бессильно приваливался к плечу сына. И это тоже нельзя было забыть, и Сергей сказал тогда себе:

— Я отнял у него месяц жизни.

И поскольку тяжелой этой мыслью он ни с кем не поделился, никто его и не разубеждал. Видимо, тогда, почувствовав, что в жизни отца замаячил предел, сын и стал вести счет своим роковым оплошностям...

— Сын!

— Да, отец?

— Посиди со мной, поговори. Мне нравится, когда мы с тобой говорим.

— Слушаю тебя.

— Ты мне скажи, я что-то не понимаю. Ты мне объясни, кто меня сюда положил?

— Никто... Ты сам лег.

— Ну, а зачем я лежу? Непонятно... На меня есть это... как его... довольствие?

— Отец, ты у себя дома. Тебе не нужно довольствие.

— Тогда почему я лежу?

— Ты снова хочешь встать?

— Я давно хочу встать. Но кто-то ведь распорядился, чтобы я лежал?

— Это болезнь распорядилась. Если ты чувствуешь, что больше не болен, тогда вставай. Я помогу. Давай оденемся. Мы можем выйти на балкон или на улицу...

— А где Катя?

— В школе. Ты хочешь, чтобы она зашла? Я позову, когда она вернется.

— Позови. Мне нравятся твои отношения с Катей... Где все остальные? Куда они ушли?

— Кто?

— Моя жена.

— Мама поехала к сестре. Ты сам ее отпустил.

— Я вспомнил... Мать в Куйбышеве. Я там не был с войны... Почему так редко приходит Катя? Принеси телефон, я сам ей позвоню.

— Так ты не будешь вставать?

— Не могу. Ноги не идут.

— Как ты себя чувствуешь?

— Чувствую, что сегодня не умру.

Отец закрыл глаза. Дыхание его было неслышным, но правая рука продолжала цепко держать руку сына, и тот, сделав неудачную попытку незаметно высвободиться, остался сидеть рядом. Минуту назад ему померещилось, что произойдет чудо, что это просто кто-то выдумал болезнь отца — и стоит о ней забыть, как все переменится... Он наклонился и прижался виском к отцовской щеке.

За окнами позолотело от опускающегося солнца, воздух стал приобретать вечернюю глубину. Жара отступила, и старики зашевелились. Высокий старик с глаукомой стоял возле раскрытого окна, и глаза его невидяще блестели под солнечным светом. Он держал голову набок, прислушиваясь к тому, что делалось внизу, на набережной, в городе за рекой. Старик с целлулоидной лысиной просеменил к нему.

— Ты, что ли, Петр Иванович?

— Я... я... — мирно закричал округлый Петр Иванович, пристраивая палку к трубе центрального отопления.

— Жена-то как, придет сегодня? — А что ей приходиться?

— Ну, как что? Зачем жена-то? Пусть заботится.

— А что обо мне заботиться? Не стеклянный...

— Нет, Петр Иванович, ты не прав. К старости как раз стеклянным и становишься. Чуть что — дзынь — и нет...

— Ну уж... Это еще как посмотреть... — И Петр Иванович молодецки глянул на мрачного «неандертальца» — Григория Никифоровича. — Что ты там разлегся? Иди к нам. Разомни старые кости...

— Не хочу... — отозвался Григорий Никифорович, но, полежав минуту, передумал, с трудом поднялся и медленно, боком погреб к окну — его огромные руки висели, как вареные клешни.

— Так у тебя, Никифорыч, говоришь, есть орден Победы? — продолжал приветственно улыбаться Петр Иванович в кураже собственного здоровья.

Григорий Никифорович закивал, не сбавляя хода:

— Есть.

— А я говорю, не может такого быть! — крикнул высокий старик с глаукомой, глядя в пустоту за окном.

— Как... не может? — остановился Григорий Никифорович. — Есть.

— А я говорю, что орден Победы, — в азарте продолжал тот, — давали маршалам. Ты же не маршал? Не маршал. Иначе бы ты в Кремлевке лежал, в Москве. Все маршалы в Москве.

— Врешь, — сказал Григорий Никифорович, шевеля клешнями, — Рокоссовский жил в Польше.

— Но ты же не Рокоссовский! — радостно воскликнул старик с глаукомой и рассмеялся, довольный собой.

— Врешь! — мотнул головой Григорий Никифорович и мелко затрясся в беззвучном рыдании.

— Да что ты, что ты... — сказал Петр Иванович, — мы же пошутили... что ты... Ну есть и есть — и всё. Кто же спорит. Говорят, орден этот с бриллиантами, так, что ли?

Но Григорий Никифорович больше не слушал, а раскрыв в немом рыдании рот, хромал обратно к своей кровати.

— Зря ты так, — вполголоса журил высокого, непримиримо глядящего вдаль старика Петр Иванович. — Он же боевой командир... Орден Александра Невского у него точно есть.

— Орден Александра Невского и орден Победы, — кричал в окно высокий старик, — это, как говорят в Одессе, — две большие разницы!

«Единственным моим настоящим другом в отрочестве был Александр Комиссаров. Отцы наши тоже дружили. Иван Григорьевич Комиссаров был сапожником высочайшего класса и имел сапожную мастерскую, в которой работали его сыновья и два работника со стороны. Он был весьма грамотен, выписывал несколько газет и журналов. Будучи неистовым поклонником таланта Л. Н. Толстого, он считал себя толстовцем — не ел мясного, не пил водки и не курил. В бога не верил, царский строй осуждал и мечтал о революции.

Мой отец и мать часто бывали в этой семье до смерти жены Ивана Григорьевича. Умерла она в родах, и ее хоронили вместе с мертворожденной девочкой. После ее смерти мой отец стал навещать Ивана Григорьевича еще чаще, но уже один, без матери. Брал и меня с собою. Ходили мы пешком, и я был еще таким малым и несмышленным, что по пути, если на небе сияла луна, просил отца достать мне луну... Отец не отказывался ее достать, но объяснял, что это весьма трудное мероприятие, так как необходимо иметь длинную веревку и позвать в помощники маму, нашу домработницу Катю, Ивана Григорьевича со всем его семейством и еще какую-то Фроську...

Комиссаровых мы всегда заставляли в прекрасном расположении духа. За работой они любили петь, а если мы приходили после ужина, то слушали игру на трехрядке самого Ивана Григорьевича и его сыновей да еще пение под гитару его дочерей-красавиц Ольги и Насти.

Любили в этом семействе смех и шутку. И мой отец от них не отставал. Как-то, зайдя к Комиссаровым, он, воспользовавшись тем, что в комнате никого нет, быстро перевесил на стенах вверх ногами все многочисленные фотографии. В другой раз, на пасху, заглянув на кухню, из которой был ход в комнаты и мастерскую, он увидел на блюде большую гору крашенных яиц и рассовал их по собственным карманам. Затем отец прошел в комнату и стал христосоваться со всеми, одаривая при этом каждого хозяйскими яйцами. Все были в восторге от его щедрости...

Александр, младший из четырех сыновей, был любознателен и трудолюбив — все ему давалось легко. После одного из посещений циркового балагана он сделал у себя во дворе кольца, турник и брусья и стал в конце концов неплохим спортсменом. А достав где-то самоучитель немецкого языка, в короткое время овладел немецким, как мне — гимназисту — казалось, весьма удовлетворительно.

Александр был старше меня лет на пять. Это, естественно, обусловило лидерство его в нашей дружбе и помогало иногда предупреждать мои ошибки. В пору, когда мне было не больше восьми лет, он обнаружил, что щенок, принимаемый мною за кобелька и потому носящий имя Мотылек, на самом деле является сучкой. Этого щенка мы с Саней крестили на реке, причем мой друг играл роль попа, а я дьякона. Одетые в ризы из рогожи, мы выполнили весь ритуал крещения, но имя щенку оставили прежнее, так как Саня заключил, что у бабочек одинаково называют представителей мужского и женского пола.

Из-за разницы наших лет кое-что я узнал от Сани значительно раньше, чем следует. Так я узнал самую обнаженную правду об интимной стороне отношений мужчин и женщин. Конечно, кое-что я знал и до него, но именно мой друг поставил, что называется, все точки над «и».

Рассказал он мне и о посещении Сюты, жены маляра Трофима, простоватого и добродушного человека, без ума влюбленного в свою супругу. На это посещение Сюты — очевидно, по православному календарю ее имя было Аксинья — чуть ли не все мальчишки нашей Песчаной улицы собрали семьдесят копеек. Сюта, взяв деньги, потрясла их на ладони, а затем повела Саню в чуланчик и там, на тощей подстилке, предварительно разъяснив, что к чему, посвятила его в тайны любви. Саня, будучи очень впечатлительным, хорошо запомнил все, что с ним произошло, и поведал мне об этом с клинической точностью.

Обязанности Трофимовой жены Сюты успешно совмещала с нештатной работой в заведении на набережной реки Крымзы, мимо которого я ежедневно ходил в гимназию. Она появлялась там обычно в летние месяцы, когда муж уезжал по найму, а заведение не успевало удовлетворять возрастающий спрос. Как-то мальчишки позвали меня во двор Сюты к щели сарая, где она добросовестно выполняла свои супружеские обязанности с приехавшим на денек мужем...

Когда началась первая мировая война, сапожников обязали шить для армии сапоги. Иван Григорьевич со всей своей мастерской тоже включился в это дело, не поднимая головы над липкой с раннего утра до позднего вечера. Трудился и Александр. Может быть, поэтому мы стали реже встречаться, а может, еще и потому, что Саша из подростка превращался в юношу, я же еще оставался мальчишкой.

К концу войны, поздней осенью 1916 года, я столкнулся с Александром на улице — он шел в сопровождении полицейского. Полицейский этот, усталый человек лет пятидесяти, слыл в нашем околотке за либерала и, видно, для поддержания этого мнения о себе разрешил нам побеседовать. Втроем мы сели на крыльцо, и Саша сообщил, что находится в заключении, под следствием, — при этом он покосился на своего спутника. Я угостил полицейского папиросами, ибо в то время уже начал курить, и тот сказал, что никуда не спешит, и мы можем беседовать сколько душе угодно. С этими словами он вежливо отсел в сторону.

Саша посвятил меня в продолжение истории, начало которой я знал. Дело в том, что он влюбился в девушку, крымскую татарку, по имени Ванда. Это имя было, конечно, дано ей в заведении на набережной Крымзы.

Пока полицейский курил, всем своим видом показывая, что до нашего разговора ему нет никакого дела, Саня поведал мне, что решил вызволить Ванду из этого заведения и жениться на ней. Но сначала требовалось заплатить какую-то значительную сумму денег. До этой суммы у нее не доставало трехсот рублей — по тем временам деньги немалые, — и Саня решился на крайнее средство — украсть их, но так, чтобы потом незаметно вернуть. Саниной сестре Насте ее зажиточный жених как раз дал на хранение примерно такую же сумму, и Саня тайком изъясил деньги в пользу Ванды. Жених, видимо, догадался, что к чему, и обратился в полицию. Однако в краже денег Саня не признался и признаваться не собирается. Ванда тем временем ушла из заведения и устроилась чернорабочей на предприятии военно-промышленного комитета... На том мы с ним и расстались.

Больше я Саню не видел, только однажды, уже после Февральской революции 1917 года, получил от него письмо. На письмо я не ответил, так как вместе с матерью тяжело переживал болезнь отца. Под левой ключицей, которую он, машинист паровоза, как-то сильно ушиб, у него появился свищ, из которого шел гной. Начался так называемый костоед — туберкулез костей. В

конце концов отца пришлось везти в город Самару в какую-то специальную больницу. Он долго лежал там, ему сделали операцию, и, пожив после операции совсем немного, 20 мая 1917 года отец умер.

Когда я наконец оказался способен ответить на Санино письмо, началась гражданская война и почта в Сызрани работала от случая к случаю. Из письма следовало, что Саня уже к апрелю 1917 года понял, как много дала Февральская революция буржуазии и как ничтожно мало трудящимся. Сейчас, конечно, этой истиной никого не удивишь, но тогда я воспринял его слова как откровение. «Наша борьба впереди, — писал Саша, — борьба беспощадная за права и достоинство рабочего человека. Ты, Юрий, учишься в гимназии, а значит, сможешь жить и при буржуазной власти. Я рабочий человек и жить при власти капиталистов я не могу и не буду...»

О себе и Ванде он сообщил, что они не венчались, так как их, принадлежавших к разному вероисповеданию, отказались венчать в церкви. «Мы стали мужем и женой без попа и муллы» — этим кончалось письмо.

Александр погиб бойцом Красной Армии летом 1918 года при освобождении Сызрани от белочехов и так называемой «народной армии» комитета Учредительного собрания. Домработница его младшей сестры Насти, оставшаяся в ту пору в доме одна, рассказывала мне потом, что Александр вошел в город с первыми отрядами красных бойцов и жил в доме сестры до возвращения белых.

Однажды в полдень, когда Александр крепко спал после ночного дежурства, она услышала на улице выстрелы, выскочила на крыльцо и увидела чехов. Вбежав в спальню, она крикнула:

— Саня, вставай! В городе чехи!

Александр, вскочив с постели, не одеваясь, в одном белье, бросился во двор и скрылся в погребе. Там стояли большие кадучки с соленьями, и он спрятался за ними. Вскоре во дворе появились чехи и сразу направились к погребу. Пришли они не случайно, а по доносу женщины, жившей в соседнем доме, которая видела Александра. Чехи открыли погреб и крикнули:

— Красный, выходи!

Александр молчал, и тогда они, не решаясь спуститься, открыли сверху стрельбу. Решив, что красный наверняка убит, они, не заглядывая в погреб, ушли, прихватив с собой его оружие и одежду. Но Александр был жив и даже не ранен. Выждав какое-то время, он выскочил из погреба, но вместо того, чтобы вернуться в дом, почему-то метнулся на улицу. Еще труднее понять, почему он побежал к зданию духовного училища. Может, думал перелезть через высокий каменный забор и оказаться на окраинных улицах города, где было легче укрыться в кварталах городской бедноты?

Александр привлек к себе внимание, когда бежал по улице. В него стреляли, но пули прошли мимо. Смерть ожидала его во дворе духовного училища. Там как раз начала размещаться чехословацкая воинская часть, и было полно солдат. Увидев бегущего в белье человека, они поначалу не стреляли, чтобы не попасть в своих. Двор был большой, и Александра пытались поймать. Саня добежал до высокой ограды и был уже на ней — нужна была доля секунды, чтобы оказаться на другой стороне. Но в это время раздались несколько выстрелов, и одна из пуль сразила его, попав в затылок.

Все мои попытки узнать, где он похоронен, успеха не имели. По всей вероятности, его тело, как и тела других красноармейцев, свалили в одну из ям и забросали землей, не оставив никакого знака.

Когда я спросил Санину сестру, пыталась ли она найти могилу брата, она ничего не сказала, только заплакала. А муж ее заявил:

— Собаке — собачья смерть... и собачья могила.

Только Настино присутствие удержало меня от того, чтобы не разрядить в него обойму пистолета».

Галя забегала по вечерам, уложив Катьку, и, пока отец в своей комнате шуршал газетами и покашливал, они, выключив свет, предавались любви. Страх быть застигнутыми врасплох подогревал чувства. Затем Галя быстро готовила им что-нибудь на кухне, беспокоясь об оставленной дома Катьке, и отец приползал взглянуть на нее. Словно догадываясь об одной из причин ее вечерних визитов, он спрашивал, лукаво улыбаясь:

— Ну как мой сын, ничего парень?

Галя с дочерью переселилась к ним под Новый год. В доме сразу стало тепло и тесно, в большой комнате зажгли елку, и Катя не вылезала из-под нее, копошась среди кукол и игрушек, — вся в своих детских тайнах.

Тридцать первого, под вечер, пока жарилась индейка, Сергей понесся по магазинам. На улице лютовал мороз, а список того, что нужно купить, сокращался не так быстро, как хотелось, и вернулся Сергей часа за два до наступления Нового года. Он был измучен, выпотрошен стужей, Галя начала нервничать, отец даже просил позвонить в милицию — не случилось ли что с сыном... Это общее недовольство было настолько несправедливо, что Сергей ответил что-то резкое жене, но тут же взял себя в руки:

— Все, баста! А то как встретишь Новый год, так его и проведешь.

Галя вопреки обыкновению дуться не стала, и пока они с Катькой раскатывали на кухне тесто, укладывали на противень пирожки, он решил искупать отца. Его давно бы надо было помыть, да все не успевалось — а теперь и откладывать было некуда.

В воде тяжелое и неподвижное тело, причиняющее отцу страдания, становилось невесомым, боль в ногах отступала, лицо разглаживалось. За минувший год отец вряд ли состарился — внешне он перестал стареть. Мыть его стало для сына делом привычным, и управлялся он быстро и ловко. Тер куском пемзы ступни — ноги отца нервно вздрагивали. Этот чуткий их отзыв радовал. А ведь когда отец последний раз лежал в больнице, врачи поговаривали об ампутации. Сергей вымыл ему голову с пролежалой, как у грудных младенцев, лысинкой на затылке, намылил щеки, подбородок и принялся брить. Лицо отца, все его складки, его мелкие, почти незаметные шрамы сын знал на память. Побитая осколком перемычка между ноздрями, ямка на переносице, маленькая продолговатая выбоинка на подбородке...

Самое трудное было вытащить отца из ванны. Сидя на табуретке, отец закрыл глаза, как заснул. Так было даже удобнее, и сын не спеша вытирал его, смазывал ноги, натягивал носки. Но, привычно совершая все эти действия, он вдруг почувствовал тревогу и поднял голову. Лицо отца побледнело — серый, незнакомый налет покрывал его.

— Отец! — громко позвал Сергей, резко выпрямляясь.

Веки отца не дрогнули и не поднялись. Сын вспомнил, как приводят в чувство, и осторожно, боясь причинить боль, похлопал по щекам. Отец не пробуждался, и в сером налете, покрывшем лицо, появился зеленоватый оттенок. Он сидел, привалившись спиной к белому кафелю, голова неловко уперлась в змеевик отопления. Согнутая правая нога мелко дрожала, медленно качаясь из стороны в сторону.

— Галя! — крикнул Сергей, открывая дверь. Наверно, голос у него был страшный, потому что возникшее перед ним лицо жены было искажено догадкой.

— Обморок! — сказал он. — Нитроглицерин, скорей! В его тумбочке'!

Галя бросилась в комнату отца, но копошение ее там показалось ему невыносимым и, бешено закричав: — Я сам! Иди сюда! — он рванулся в дверь. По пути столкнулся с перепуганной Катей и тут же пришел в себя: — Иди, Катюш. У дедушки обморок.

— Он умрет? — Дочь прижала ко рту руки.

Нитроглицерин таял на языке, но отец был по-прежнему смертельно бледен — веки плотно закрыты, будто навсегда.

— Что еще? — растерянно оглянулся на жену Сергей.

Ее лицо с расширенными глазами маячило за дверью — третьему человеку в ванной было не поместиться. Она протянула полотенце, и он стал судорожно обмахивать лицо отца.

— «Скорая помощь»! — вдруг дошло до его сознания. — Звони в «Скорую»!

Не так-то просто было дозвониться, и все же Галя пробилась сквозь частые гудки.

— Да, очень плохо... Глубокий обморок... — слышал он ее высокий от волнения голос. — Семьдесят шесть лет...

«Как много ему лет», — сторонне подумал Сергей, словно этот обморок и годы проясняли друг друга. Прибежала Галя:

— Они сказали, надо его положить!

В обморочном состоянии отец был еще тяжелее, или это вдруг сил не осталось — Галя едва успела подхватить его ноги, и они вдвоем перенесли отца в большую комнату на диван. Тело отца затрепетало, грудь стала подниматься, словно не могла вздохнуть, и он издал сдавленный стон.

«Неужели конец?!» — Сергей упал на колени, задев таз, поднесенный Галей, и во все глаза глядя в мертвенное лицо отца, схватил его за руку. Рука была живой, хоть и неподвижной.

— Отец! — крикнул он. — Батя! Ты слышишь меня?! Если слышишь, сожми руку! Ты слышишь? Сожми!

И вдруг пальцы отца, недвижно охватывавшие его ладонь, стали чуть уловимо, сквозь дрожь и бессилие сжиматься...

Когда приехала бригада «Скорой помощи», отец уже пришел в себя. Щеки его порозовели, и он с дружелюбным любопытством поглядывал на незнакомцев в белых халатах: двух молодых врачей и девушку-фельдшера с тяжелой сумкой-сундучком. Отец безропотно вытерпел два укола — в вену и левую ногу, и почему-то больше всего запомнились Сергею расхлябанные ботинки с обрывками шнурков на ногах молодого бородача, который говорил с отцом бодрым, обещающим бессмертием голосом.

Потом отец с улыбкой заявит, что, оказывается, умирать совсем не страшно.

Сергей вынул термометр. Он загадал, что, если сейчас температура у отца ниже, чем прошлый раз, все будет хорошо. Температура была выше, хотя и ненамного, — и он сказал себе, что раз ненамного, то не считается. До этого он еще раз обманул себя, поставив градусник под парализованную руку, — казалось, что с правой стороны тело прохладнее...

Отец спал, тяжело дыша. Пришла медсестра с подносом — на вафельном, темном от марганцовки полотенце лежал наполненный шприц. Медсестра откинула простыню. Сергей не хотел смотреть, как колют отца, — он поспешно встал и отвернулся к окну.

Отец даже не проснулся.

— Дайте ему кислородом подышать, — сказала сестра. — Ему легче будет.

— Можно, да? — переспросил он автоматически, не сразу понимая, о чем речь.

Сестра взглянула на него с укоризной и вышла.

— Знаешь, где включается? — поднял над подушкой голову старик с глаукомой. — Вот здесь, за моим стулом. — Он поводит в воздухе рукой, лоя спинку стула, и подвинул его к себе.

На стене за шторой Сергей обнаружил трубу с краником. Над трубой висела стеклянная колба с водой.

— Смелее, смелее, поворачивай! — не видя его, приказал старик.

Сергей повернул, и в колбе, болбоча, побежали вверх пузырьки.

— Трубки там, за спинкой кровати...

Сергей взял тонкие резиновые трубки — из них вырывалась невидимая кисловатая струя. Он ослабил напор кислорода и вставил трубки отцу в ноздри. В облике отца сразу появилось что-то пугающее.

В углу палаты тихо, как в аквариуме, журчали пузырьки. Отец не просыпался, только его рука с прямыми пальцами инстинктивно тянулась к вставленным трубкам. Трубки легко выскальзывали, и Сергей снова терпеливо укреплял их, боясь вводить глубоко, чтобы не причинить боль. Но рука отца снова начинала бессознательное медленное движение к трубкам — они мешали ему. Сергей поднес к лицу одну из них — свежая кисловатая струя пахла резиной, и он почувствовал в носу болезненную сухость. Вот что беспокоило отца.

Угрюмый старик Григорий Никифорович смотрел на него, оставаясь неподвижным, одни только глаза проследили за ним от кровати до кислородного крана и обратно. В глазах была жажда, чтобы его поняли, заговорили с ним — невыговоренная обида наполняла их.

«Великая Отечественная война застала меня в Ульяновске. Не буду рассказывать, как и почему я там оказался, — скажу только, что носил я в то время звание военного комиссара третьего ранга и занимал должность старшего преподавателя электротехники в училище связи. Узнал я о войне примерно в полдень 22 июня 1941 года, а на второй день, 23 июня, кстати говоря, в день своего рождения, подал рапорт на имя начальника училища с просьбой откомандировать меня в Действующую армию. На мой рапорт долго не было ответа, затем меня вызвали к начальнику училища и в пространной форме дали понять, что я как преподаватель во время войны нигде не могу принести больше пользы, чем в училище. Кроме того, в политотделе мне намекнули, что мое желание уйти на фронт является политически вредным. «Об этом вы должны всегда помнить так же, как и о том, что исключались из партии и были уволены из армии». О последнем я помнил более чем хорошо, но еще лучше я понимал, что никогда не прощу себе пребывания в тылу во время такой войны.

Я понял, что оказаться на фронте смогу только в результате своих собственных усилий. Усилий я приложил немало, но все они в конце концов оказались тщетными. И все-таки случай попасть на фронт представился. Летом 1942 года я оказался в Москве и, не заходя в Управление связи, куда был командирован, направился в Инженерное управление, где, как я знал, меня помнили и могли мне помочь.

Начальником отдела кадров инженерных войск был товарищ Паширов. Понтонер по своей основной специальности, он в молодости несколько раз бывал на наших лагерных сборах на Трухановом острове в Киеве. Он сразу узнал меня и без лишних проволочек направил под Сталинград в Отдельную инженерную бригаду специального назначения, которой командовал также известный мне по Ленинградской академии Михаил Фадеевич Йоффе — он был слушателем

в одной из групп, где прежде я читал лекции по теории переменных токов и по курсу «Передвижные электрические станции».

Итак, моя мечта воевать с немцами прямо и непосредственно, а не путем преподавания электротехники курсантам-связистам, мечта, с которой я ложился спать и с которой просыпался на протяжении последнего года, — эта мечта стала наконец осуществляться. Теперь, имея на руках назначение в Действующую армию, я почувствовал необходимость рассказать самому близкому мне человеку о том, почему я иду воевать. И я засел за письмо к жене, которая не догадывалась о подлинных причинах моей поездки в Москву и которую я, зная, что не вернусь в Ульяновск, отправил на пароходе с моим первым и единственным двухмесячным сыном в Куйбышев, к ее родной сестре.

Я рвался на фронт, ибо не мог примириться с тем, что мою самую передовую, самую справедливую в мире страну я не буду защищать лично в боях с врагом. Сейчас, когда я вспоминаю свои мысли и чувства перед отъездом в Сталинград, мне хочется не столько объяснить другим, сколько самому понять, как я мог абсолютно искренне считать свою страну самой справедливой, когда я постоянно наталкивался на факты, опровергавшие всякую справедливость. Могу объяснить это только тем, что даже в трагические годы культа Сталина, которого, признаться, я не любил, моя страна вдохновлялась столь гуманными идеями, что несправедливость отступала перед ними на второй план. По крайней мере, для меня многое из того, что происходило тогда, казалось временным, случайным.

Я рвался на фронт и потому, что иначе не мог представить себе, как буду смотреть в глаза моему сыну, моей жене и, наконец, вообще людям после войны. В письме я писал, что уверен в победе над фашистскими захватчиками. Это были не пустые слова. С самого начала войны у меня ни разу не возникала мысль, что мы можем ее проиграть. Слова Сталина: «Наше дело правое. Мы победим» — были моим собственным убеждением. Не буду лукавить — я допускал, что нам придется отступить даже дальше, чем мы отступили, может быть, — до Урала. Но я никогда не верил в победу врага.

Склоняясь над этим письмом, я, сорокалетний мужчина, пролил слезу, так как все время видел перед собой мою жену, выглядевшую еще совсем хрупкой девочкой, и моего сына, который, когда я его, спящего, поцеловал в последний раз, вдруг проснулся и горько заплакал, хотя не был плаксой.

Идя с письмом к почтовому ящику, я думал о том, что нашел силы преодолеть в себе любовь и привязанность к моей маленькой семье, которую я обрел так поздно.

...К осени 1940 года я наконец почувствовал, что твердо стою на ногах. Работа старшего военного преподавателя электротехники меня вполне устраивала. Работал я с большим желанием, читая лекции по десять часов в день. Из анализа международной обстановки и разговоров с людьми я чувствовал, что страна накануне войны, войны беспощадной и кровавой. Но в Куйбышевском военном санатории, куда мне дали путевку, я неожиданно и вопреки здравому смыслу влюбился в молоденькую девушку, обучающую нас бальным танцам. Прошел почти год, полный трудностей, различных противоречивых мыслей и опасений, прежде чем эта девушка стала моей женой. Повторяю, мне было ясно, как и всем, что война не за горами, но я сознательно пренебрег всем и вся, и вскоре после начала войны мы с женой стали догадываться, что она беременна.

В то нелегкое во всех отношениях время я делал все, что можно, для обеспечения своей маленькой семьи. Только поэтому моя жена и смогла родить мне сына.

Это случилось 12 мая 1942 года, на рассвете, когда я был дежурным по училищу. Персонал родильного дома сразу же сообщил мне по телефону о появлении на свет моего первенца, и я, задыхаясь от волнения, выбежал на пыльную улицу.

Больничная сестра, в нарушение всех правил, вынесла показать мне сына. Он был совсем крошка с красным личиком и, к моему удивлению, с длинными, торчащими во все стороны черными волосами. Удалось мне, хотя только через окно, увидеть и жену. Бледенькая,

осунувшаяся, в застиранном больничном халате, она сидела на койке у окна и пыталась мне улыбаться. Она бросила мне в форточку какое-то очень наивное стихотворение, написанное ею. Стихотворение не сохранилось, а содержание его я забыл, но хорошо помню, что начиналось оно словами: Когда мы в постели лежали...

Было много хлопот, чтобы раздобыть мыло для сына и стирки пеленок. Вместе с курсантами я ходил в баню и там подбирал обмылки. Вычитав где-то, что мыло можно варить из электролита для заливки аккумуляторов, мы сварили такое мыло, и жена вымыла им лицо. Потом она целую неделю лечилась — кожа воспалилась и сходила слоями. Подгузники и пеленки мы делали из старых, негодных к употреблению карт, наклеенных на полотно. Курсанты, любившие нас с женой, добывали на кухне и в столовой училища, без моего, правда, ведома, посуду, необходимую для ухода за ребенком...

В заботах о своем первенце я настолько овладел тонкостями врачевания детей, что у меня даже консультировались мамы-роженицы. И все-таки я нашел в себе силы расстаться со своей семьей. И сейчас перед моими глазами стоит палуба волжского парохода, и на ней моя жена с двухмесячным сыном на руках. Я долго смотрел на удаляющиеся огни... Сердце сжималось от боли, но ни тогда, ни потом ни разу я не пожалел, что поехал на фронт.

Теперь, когда мне доводится читать об обстоятельствах, обусловивших нашу победу в Великой Отечественной войне, я всегда мысленно добавляю: Мы не могли не победить. Если уж я, вообще говоря, много путавший в жизни и совершавший много ошибочных и легкомысленных поступков, с самого начала войны вел себя правильно, то как же самоотверженно вели себя люди более достойные, чем я.

Уезжал я из Москвы с Павелецкого вокзала поездом до Саратова, откуда шел пароход до Сталинграда. В Саратове я сел на пароход, уже совершенно ясно представляя себе свою роль в бригаде в качестве инженера-электрика. Беспокоило меня только одно. С весны 1938 года, когда я, изгнанный по навету из партии и армии, не однажды стоял на Литейном мосту через Неву и, глядя на плывущие с Ладоги льдины, обдумывал, как лучше прыгнуть, чтобы наверняка превратиться в утопленника, — словом, с того самого времени у меня начались дикие головные боли. Эти боли в Ульяновске достигли ошеломляющей силы. Однако они полностью исчезали, едва я начинал лекцию, и возвращались, когда я ее заканчивал.

Болела голова и в Москве, и теперь, на пароходе. Когда он приблизился к одной из последних пристаней перед Сталинградом, и я увидел истерзанные трупы людей, плывущие по Волге, причем на некоторых из них были остатки бинтов, голова стала болеть несколько меньше. Боль стала еще меньше, когда я узнал, что незадолго до нашего появления немцы разбомбили пароход, везший наших раненых бойцов с фронта в тыл. Боль значительно поутихла, когда наш пароход проплывал мимо горящей нефтяной баржи, разбитой немецким самолетом. Головная боль исчезла у меня полностью, когда наш пароход уже перед самым Сталинградом обстреляли два «мессершмитта». Боль исчезла надолго и возвратилась только после войны.

Комбрига Михаила Фадеевича Иоффе, с которым я расстался в период, когда он отлично защитил свою дипломную работу и получил назначение в Ленинградский военный округ, я не видел около пяти лет. За это время он заметно изменился. Его стройная фигура отяжелела, а смуглое лицо с выразительными, подвижными и густыми бровями стало еще более мужественным и решительным.

От него я узнал, что во время отступления бригада боевых действий почти не вела, но потеряла много людей и сейчас выводится в резерв для окончательного формирования — так что, по его словам, я приехал весьма удачно. Находясь в непродолжительном резерве, бригада продолжала участвовать в боевых действиях Юго-Западного фронта, отступавшего к Сталинграду. 22 августа меня вызвали в штаб бригады и сообщили, что я назначен начальником оперативной группы, обеспечивавшей действия батальона Ванякина в 62-й армии и батальона Ляшенко в 64-й армии.

В указанное время я приехал со всем составом опергруппы на пристань Ахтубы — поселка на левом берегу Волги напротив Сталинграда. Еще издали мы услышали непрестанные разрывы

бомб, а затем увидели над городом по ту сторону Волги огромный столб дыма — немецкая авиация бомбила Сталинград. На берегу пылали резервуары с горючим. Начальника отдела снабжения бригады, который должен был выдать нам документы на получение артснарядов и толовых шашек — из них мы делали управляемые противопехотные мины, — на месте не оказалось. В самом начале бомбежки он укатил подальше, полагая, что под немецкие бомбы в горящий город, где находился штаб инженерных войск, никто не поедет. Но я решил переправляться, несмотря на недовольство своих подчиненных.

Легко сказать — переправляться, но как и на чем? Немецкие летчики бомбили не только город, но и каждую лодку, появляющуюся на реке. Битый час мне пришлось уламывать капитана буксирчика, стоявшего здесь же, у пристани. Наконец он согласился перевезти нас и еще нескольких военных, у которых в городе были неотложные дела. Капитан оказался стреляным морским, то бишь речным волком. Не успели мы достигнуть и середины реки, как над нами появился «юнкере», явно намеревавшийся пустить нас ко дну. Однако наш капитан то давал тихий ход, то рывком бросался вперед, то вихлял вправо, то влево... Только благодаря его бесстрашию и умелым маневрам ни одна из предназначавшихся нам бомб не причинила никакого вреда.

С пристани, предварительно разделившись, чтобы не быть накрытыми одной бомбой, мы направились в город, в штаб инженерных войск. Шли так, чтобы не терять из виду друг друга. На первой же улице у руин догоравшего углового дома я увидел не менее десятка обгоревших трупов мужчин и женщин, уложенных в ряд. Огнем у трупов были обезображены не только лица, но и тела.

Улица горела с двух сторон, сверху на нее сыпались бомбы, так что неясно было, чего больше опасаться — то ли пожара, то ли пикирующих самолетов. Наступали сумерки, но улицы были освещены пламенем. Возле большого горящего дома я увидел интеллигентного вида женщину и с ней мальчика лет девяти. Мальчик поднял ко мне свое бледное личико и сказал:

— Дяденька, спасите нас.

— Для спасения, милый, надо идти к Волге, к переправе. А мне в другую сторону, к фронту.

Это все, что я мог тогда ответить...

Навстречу нам попала повозка с красноармейцем-возницей. На ней сидели два связанных по рукам и ногам немца. Видимо, их намеревались эвакуировать в тыл. Лица этих обезоруженных вояк были искажены таким страхом, что они были достойны скорее презрения, чем ненависти.

Штаба инженерных войск в тех домах, где он размещался, мы не нашли. Деревянные, они к нашему приходу успели сгореть почти полностью. Стоял только один деревянный домишко, каким-то чудом уцелевший в этой огненной стихии. Возле него в течение одного часа я прошел полный курс науки спасения от авиабомбежки.

Давал этот курс невесть откуда взявшийся красноармеец-пехотинец. Полностью повторяя его действия, я усвоил, что надо остерегаться не бомб, сброшенных у тебя над головой, а тех, что сброшены впереди тебя. В этом случае полагалось изо всех сил бежать им навстречу, пока они еще в воздухе... Понял я, и за какой стеной следует укрываться от осколков.

Когда бомбежка прекратилась, я после короткого совещания со своими товарищами, которые оказались тоже весьма прилежными учениками пехотинца, решил двигаться на Тракторный завод к батальону Ванякина. Возле переправы через Волгу стояла колонна автомашин с горючим, к самому берегу прижималась огромная плотная толпа военных и гражданских — ждали паром. Никто не заметил, как в небе снова появились «юнкеры» — в следующий момент в это скопление людей и машин были сброшены авиабомбы. Взрывы разорвали толпу на части, огромные языки пламени взвились над разбитыми машинами с горючим, осветив ужасающую картину гибели сотен людей...

Следуя в направлении к Тракторному заводу по западному берегу, мы вскоре снова попали под бомбежку — путь преградила сплошная стена огня. Мы решили, что до батальона можно

добраться только в обход — через Волгу. Так и поступили. На подвернувшейся лодке переправились обратно в Ахтубу, где объявившийся к этому времени начальник отдела снабжения бригады дал нам полторку. Мы погнали ее вверх по берегу Волги, пока на противоположной стороне не показались корпуса Тракторного завода. Написав в штаб бригады донесение о наших злоключениях, я послал с ним на машине одного из офицеров, и на рассвете 24 августа, когда он вернулся, мы еще раз форсировали Волгу. Добытая нами лодка хорошо слушалась весел, все шло благополучно, но вдруг, когда до западного берега было рукой подать, на нас налетел «мессершмитт». С первого захода он промахнулся — пулеметные очереди вспороли воду в стороне от лодки, а дальше нам просто повезло. Делая разворот для второго пикирования, «мессершмитт» попал под огонь «катуш». Очевидно, летчик испугался этого залпа и улетел. Наше неожиданное спасение заставило меня теплым словом вспомнить Ивана Исидоровича Гвая, инженера-конструктора, автора этого замечательного миномета. Гвай был моим надежным другом и доброжелателем с 1932 года, когда я работал с ним в научно-исследовательской группе академии, и до самой своей преждевременной смерти в конце пятидесятых годов.

Мы благополучно причалили к берегу и, одолев его значительную крутизну, оказались в поселке Тракторного завода, представлявшем собой квартал добротных кирпичных многоэтажных домов. Немцы обстреливали из минометов и завод и поселок, но его жители, казалось, не придавали этому значения — во дворах детвора играла в мяч...

Ванякина я отыскал довольно быстро — его командный пункт расположился недалеко от миномета, ведущего по немцам непрерывную стрельбу. Ванякин сразу мне понравился. Был он молод, привлекателен, азартен. Докладывая обстановку, сообщил, что немецкие танки прорвались на северную окраину Сталинграда, на так называемый «рынок». Сейчас он обеспечивает группу генерала Фекленко, на которую возложена задача оборонять Тракторный завод, — устанавливает минные поля на танкоопасных направлениях. Ванякин проводил меня к генералу для представления и затем помог отыскать щель, в которой по указанию генерала я должен был разместиться вместе с опергруппой.

С Ванякиным я быстро сработался. Он рассказал мне, что окончил инженерную академию, воюет с начала войны, что однажды побывал в окружении, что до войны был футболистом московской команды «Спартак». В своих рассказах, как мне показалось, он о чем-то умалчивал — была в нем свойственная людям крестьянского происхождения лукавость. И только однажды поведал, что вырос в семье зажиточного крестьянина и что только благодаря смекалке избежал в свое время больших неприятностей. Что ж, от этого выиграл не только он, в будущем генерал-лейтенант, но и все наше общество.

В дни, когда немцы вели усиленное наступление с целью прорваться к Волге на стыке 62-й и 64-й армий, я не раз бывал на знаменитом Мамаевом кургане. Однажды я прибыл туда во время неистового вражеского обстрела и бомбежки. Вызвал меня начинж 62-й армии Грачев. Грачев, знавший толк в боевых действиях, так как воевал еще в Испании, дал мне исчерпывающие указания по обеспечению 62-й армии установкой минных полей. Начинж счел нужным пойти вместе со мной к командующему армией товарищу Чуйкову. Мы появились у него в землянке в тот момент, когда снаружи разорвалась бомба и с потолка на головы присутствующих посыпалась земля. Посыпалась она и на стол, за которым сидел Чуйков. Приказав привести землянку в порядок, он предложил выйти на свежий воздух. На «свежем воздухе» обстрел и бомбежка Мамаева кургана ощущались несравненно острее. Меня поразили слова Чуйкова: «Я себя настоящему хорошо чувствую только при обстреле», — и я пожалел — про себя, конечно, — что не работаю вместе с ним, и вспомнил друга моей боевой юности Ивана Мироненко. По-видимому, они были сделаны из одного теста».

Через два дня после того предновогоднего отцовского обморока вернулась мать. Расцеловав всех, она, не снимая пальто, присела на кухне, глядя вокруг приветливым взглядом перелетной птицы. Но когда Сергей повел отца в туалет — дряхлого, с обвислым лицом и бешеным от сознания своей беспомощности взглядом, в голубых болтающихся кальсонах, — когда Сергей повел отца и мать взглянула на него, что-то непоправимо изменилось в ее лице, она вновь стала

стареющей женщиной, в которой не было ни тайн, ни чудес. Но она совершила тогда чудо — еще раз поставила отца на ноги. И Сергей запоздало осознал, что ни он, ни Галя не могли помочь отцу — и не потому, что были менее заботливы, а потому что единственным, подлинным другом в жизни отца, единственным его спутником была жена.

Итак, отец снова начал вставать, снова появился на кухне и по полчаса мог высидеть за обеденным столом. Лишь сон его по-прежнему приходился на дневное время, а по ночам он не давал спать. Мать срывалась, потом не находила себе места от угрызений совести. Но несдержанность ее была простительна. Потому что любое подвижничество складывается не из одной только силы, но и из преодоленной слабости — так ей ли было корить себя за то, что она каждым днем своей жизни с отцом преодолевала?! Ей стал чудиться крик, зов отца, даже когда он молчал, как чудится плач младенца кормящей матери. Когда она спала и спала ли вообще, сын не знал — она перестала жаловаться.

— Ты же не выспишься... — отвергала она предложение сына подменить ее ночью. — А тебе с утра читать лекцию. На тебе такая ответственность.

Сыном она гордилась. Во время ночевок у родителей Сергей, случалось, слышал сквозь сон крики отца, плачущий голос матери, а то и тяжелое шарканье ног по коридору, тогда он вставал, и вдвоем с матерью они вели отца мыться, перестилали постель, на которую тот, неловко повернувшись, опрокидывал содержимое утки. Иногда от усталости сыном овладевало бешенство, и он, держа отца под руки, поворачивал его в сторону плачущей от бессилия матери:

— Как тебе не стыдно! Смотри, что ты с ней делаешь?

Но никогда, ни разу, даже втайне, даже в самом темном закоулке души, он не пожелал отцу спасительной смерти — он хотел, чтобы отец жил всегда.

А потом опять наступило ухудшение. Но оно уже столько раз наступало, что это только и значило, что надобно усилить уход, — и тогда отец поднимется, он встанет на ноги и пойдет, пошатываясь, опираясь на мать и сына, а то и сам — с палкой — их отец... Теперь, чтобы добраться до туалета, он цеплялся за шею жены и повисал на ней, с трудом волоча ноги и крупно дрожа всем телом, — а она мелкими шажками продвигалась вперед, опустив голову, как бурлак с картины Репина — тот, что идет последним...

Кормили его прямо на диване и, чтобы не заваливался на бок, садились рядом, плечом к плечу. Он стал заметно меньше есть.

Однажды вечером он подозвал к себе сына.

— Что, батя? — привычно склонился перед ним Сергей, делая бодрое лицо. — Опять будешь требовать яду?

— Нет, — сказал отец. — Я хочу жить...

Сергею стало по-настоящему страшно:

— Почему ты так говоришь?

— Потому что жить интересно, — сказал отец.

Сергей позвал мать. Испуганные, они стояли над отцом, в предчувствии недоброго всматриваясь в него, лежащего с тихой, благодостной улыбкой.

— Ты что это, батенька, нас пугаешь? — с деланным оживлением неверным голосом спросила мать.

— Ничего подобного, — спокойно отозвался отец, воздевая над собой руки в старческих веснушках — в «гречке»; пальцы были слабые, прозрачные, с удлиненными, благородной формы

ногтями, какая-то особая порода была в них — печать прежней силы и достоинства. — Я просто сказал сыну, что хочу жить.

— Ну так ты и живешь, — сказала мать, переглядываясь с сыном. — Мы же с тобой договорились, — заулыбавшись, она игриво пошлепала его по руке, — что живем еще десять лет, а потом вместе отправляемся восвояси...

Эта много раз повторяющаяся словесная формула всегда вызывала у него улыбку, но на сей раз он не улыбнулся — потому ли, что не расслышал, или потому, что знал что-то другое. И показалось им, что его желание умереть, его стоны и проклятия и были волей к жизни, а желание жить стало голосом смерти.

На следующий день мать застала отца стоящим у двери комнаты:

— Что это за женщина? — спросил он.

— Какая женщина? — насторожилась мать, пораженная тем, что он сам поднялся.

— Которая пришла ко мне. Беременная. Согнала меня с дивана... Что она делает у нас?

Вечером мать пересказала сыну весь разговор.

— Как тебе это нравится? — Она ждала, что он ее успокоит, но он тяжело усмехнулся:

— Это смерть, мама.

— Ну вот! — отшатнулась она. — Еще один с ума сходит.

— Эта женщина — смерть, — повторил он. — Но она беременная... Вот что. Он еще поживет.

— Надо вызвать врача, — решительно сказала мать.

— Ну что же вы хотите. — Лечащий врач Вера Михайловна была недовольна вызовом. — Что вы хотите? Юрию Васильевичу семьдесят семь лет. Это очень много, особенно с его букетом болезней. А погода какая — то мороз, то оттепель. Он у вас метеотропен, так что никаких особых симптомов я не вижу.

— Но ведь он ходил, доктор! Ходил, ел! А теперь — смотрите — он сидеть не может.

— Это в порядке вещей, — сказала Вера Михайловна. — Ему будет все хуже и хуже. Простите за откровенность, но если б не ваш уход, его давно бы не было.

Эта немолодая, усталая женщина, уже пятнадцать лет как похоронившая мужа, не отдавала себе отчета в том, что затянувшуюся старость она считает патологией, — ее рациональному сознанию была гораздо понятней суровая логика закономерной смерти, и ее сердило, что она должна была каждый раз подыскивать обходные, полужначимые слова, дабы не задеть чувств перепуганных родственников. Она скорее понимала тех из них, кто, как и она, говоря над больным одно, глазами выражали совсем иное. Но в этой семье действительно боролись за жизнь полуразбитого инсультами старика — и было в этом, с ее точки зрения, что-то раздражающе противное разуму.

«...Командир бригады, изредка заезжавший в опергруппу, когда она размещалась в землянке в долине Вертячей, как-то полусерьезно сказал мне, что было бы неплохо взять в плен какого-нибудь немца и прислать его в штаб бригады. В январе 1943 года такая возможность представилась. В одном из боев я первым заскочил в немецкую землянку у подножия только что отбитой у немцев высоты. В землянке, освещенной светильником из гильзы малокалиберного снаряда, за столом сидели два немецких солдата. Завидев меня, они, как по команде, вскочили и подняли руки вверх. Перед ними на столе лежали два автомата с вынутыми обоймами.

Из их торопливых, испуганных слов я понял, что они решили добровольно сдаться в плен и потому остались в землянке. Отодвинув подальше от них автоматы, я предложил им сесть и начал допрос. Оба немца оказались танкистами из одного экипажа. Один из них до войны работал на авиационном заводе фрезеровщиком, другой, парикмахер, имел собственную мастерскую. Оба вынули из карманов наши листовки на немецком языке, тыча пальцем в строки, призывающие сдаваться в плен и гарантирующие при этом сохранение жизни, право ношения военной формы и еще что-то. По моему указанию немцы взяли свои ранцы, из которых торчали скатки одеял и, следуя впереди меня, вышли из землянки. Разыскав водителя своей автомашины, я послал его с парикмахером на пункт сбора пленных, а со вторым остался у машины. Немец, фамилия его была Вейнер, сказал мне, что женат на француженке и что у него есть сын, которому сегодня исполнилось три года, два месяца и пять дней...

Приехав с немцем в землянку нашей опергруппы, я застал в ней начальника штаба бригады и моего заместителя Ассонова. Пленный танкист был высокого роста, чисто одет, с хорошо вымытыми руками и лицом, аккуратно подстрижен и побрит. Ему дали поесть. Перед тем как сесть за стол, он снял шинель, и мы увидели на его груди Железный крест. Немец ел с видимым аппетитом, но весьма сдержанно, деликатно, без жадности, хотя чувствовалось, что он сильно голоден.

Затем произошел разговор, в котором, кроме присутствующих, участвовали еще несколько зашедших в землянку офицеров. Переводил я. Я высказал удивление, что фельдмаршал Паулюс, как утверждали слухи, в такой тяжелый для его войск момент улетел из Сталинграда.

Вейнер категорически заявил:

— Это неправда. Паулюс ни в коем случае этого не сделает. Он сейчас в Сталинграде и будет с войсками до конца.

Как мы впоследствии узнали, Вейнер нам не соврал.

На мое заявление, что после Сталинградской битвы Советская Армия погонит немцев до Берлина, он с большим сомнением сказал: «Каум, каум» (Едва ли)*, — и своей прямой поправился нам.

Когда я стал говорить Вейнеру, что с такой наградой, как Железный крест, он должен был драться до конца, а не сдаваться в плен, над нашей землянкой угрожающе завыл «мессершмитт», и азартный Костя Ассонов, мечтавший самолично сбить самолет, выскочил с винтовкой из землянки.

— А что я мог сделать, если вы стреляете со всех сторон из всех видов оружия, — ответил на это Вейнер и, указывая на прикрепленный у меня на груди орден Красной Звезды, спросил в свой черед: — А что бы вы делали на моем месте?

Я хотел было ответить: «Я бы застрелился», но, зная, что слова «стрелять» и «ссать» при неумелом произношении звучат по-немецки почти одинаково, только сказал: «Ich»...** — и, вынув из кобуры пистолет, приставил дуло к виску.

В этот момент раздался выстрел, ошеломивший всех присутствующих, в том числе и меня самого. Прошло, наверно, несколько мгновений, прежде чем мы осознали случившееся. Оказалось, это стрелял по самолету Ассонов, и как всегда — без успеха...

Прибывшая вскоре машина увезла Вейнера в хутор Вертячий.

Вейнер находился в штабе бригады и, видя к себе терпимое отношение, был уже далеко не так сдержан и скромн, как у нас в землянке. Убедившись, что ему ничто не грозит, он осмелел, сделался высокомерн, вспомнил, что он представитель высшей расы, стал поговаривать о том, что русские, мол, нечистоплотны, ленивы, проявлял интерес к девушкам, работающим в штабе,

* Едва ли (нем.).

** Я... (нем.)

допуская по отношению к ним вольности, которых не позволяли себе мы. Это всем надоело, и начальство, как видно, по совету штабных офицеров, приказало его расстрелять. Приказание это охотно выполнил маленький кривоногий киргиз, убиравший штаб и числившийся при хозчасти, которого Вейнер в открытую презирал. Расстреляли его вблизи кладбища. Перед смертью Вейнер плакал.

Мне и сейчас, к моему удивлению, делается горько, когда я вспоминаю этого первого за время войны взятого мной в плен немца. Мне кажется, если бы я был в это время в штабе бригады, я добился бы его отправки в лагерь военнопленных, и он бы остался жив и, может, после войны вернулся бы к своей худенькой француженке и к своему сынишке, фотографии которых он мне показывал.

...В последние дни января 1943 года по дорогам двигались нескончаемые колонны пленных немцев. Даже при мимолетном взгляде меня поражала их невероятная вшивость и ужасающий насморк, которым все они страдали. Многие буквально исходили соплями. Один из немцев чуть не попал под колеса нашей машины. Он полз навстречу по дороге с трагическим выражением лица и время от времени воздевал руки, словно взывая о помощи. Из ноздрей его красного от холода носа торчали жгуты соплей. Я прислушался к его бессвязным выкрикам. Немец просил, чтобы его пристрелили.

— Не хотите ли ему помочь? — поморщился комбриг.

— Я могу пристрелить человека только в порядке самозащиты и то при надлежащем нервном напряжении, — сказал я».

Когда открывалась дверь, занавеска взлетала перед окном, касаясь лежащего старика с глаукомой, он беспокойно поднимал голову и, глядя в никуда, говорил:

— Закройте скорее дверь!

Жара не отступала, она была как тяжелая болезнь с высокой температурой, и тополиный пух был признаком этой болезни, кружась над улицами, рекой, вершинами деревьев желтовато-белой, сухой, астматической метелью. Прохладу можно было найти только в тени больничного сада, куда Сергей выходил размяться.

Возле вытопанной площадки, покрытой серо-серебристой пылью, цвел огромный куст барбариса. Сергей невольно остановился перед ним. Повсюду, и сверху и снизу, желтели маленькие грозди мелких цветков. Их было необычайно много среди такой же неисчислимости продолговатых листьев четкого рисунка и плотного темно-зеленого цвета. Вся эта огромная и легкая масса желтых бутончиков соцветий и зеленых язычков листы была взвешенно неподвижна, будто напряглась в ожидании, затаилась, дыша дурманяще-густо, как зной.

Сергей вдруг почувствовал, что ему трудно уйти, — он стоял перед кустом, вглядываясь в него, словно за этими повторяющимися ветками, разветвлениями, листками, мутовками, вывернувшими свету липкую новорожденную изнанку, — словно за всем этим скрывалась некая тайна, некая жизнь, заполнившая пустоты в глубине куста, откуда начинался бег теплой влаги, источающей себя в пряном духе цветения. Эта жизнь была загадочна и нова и что-то обещала. Но обещала не лично ему, Сергею, как раньше, в детстве, юности, а всем и каждому — и была столь же близка и понятна, сколь и непостижима. Но когда Сергей инстинктивно обошел куст и глянул на него с тыльной стороны, тайна исчезла. Перед ним сухо блестели бесстыдно оголенные солнцем прутья, согнувшиеся под тяжестью желто-зеленого цветения, перенесенного ими в тень. Худосочность этих ничем не прикрытых прутьев была так оскорбительна, что он, зажмурясь, как от боли, поспешил вернуться на ту сторону, чтобы снова испытать восхищение жизнью.

Это кустящееся сопряжение прекрасно-необоримого и сиротски-убогого подтолкнуло его к чувству, которое прежде он не испытывал, — благоговению с горьким привкусом муки, потому что в возвышенном зрело унижение, а в совершенном — несовершенство.

Когда Сергей вернулся в палату, отец лежал с открытыми глазами, и в них почти не было тревоги. Он сделал несколько глотков из поильника. Волоконца раздавленных апельсиновых долек он старательно слизывал с губ. Затем снова закрыл глаза. Близился вечер, и гул машин за окном слабел. В палате зажгли свет, хотя за окнами было светло. В небе медным блеском обозначились неподвижные полосы облаков.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Стоит только обернуться — и прошлое тут как тут, и если тщательно смотреть, снова увидишь те немногие — хватит пальцев одной руки — протяженные мгновения, которые обозначили начало. Иных нет и, как ни напрягай память, не будет, потому что когда он осознал, что есть прошлое, то вспомнил только то, что дано было вспомнить, и с тех пор, — сколько ему было лет? десять? шестнадцать? — хотя сознание разрасталось, обогащая память, — с тех пор больше ничего так и не обнаружил. Это одна из загадок без ответа — вспоминается только запомнившееся навсегда. Почему запомнилось не то, о чем ему рассказывали мать, отец, а иное, свое? По какому закону оно оказалось для памяти важнее и слабыми сполохами всю жизнь высвечивается из темноты?

В тех мгновениях много темноты — полумрака, сумерек без стен, пола и потолка — только неплотная колеблемая сфера желтого, жидкого света, в которой звучит печальный голос матери. Она поет: «Ты, моряк, красивый сам собою. Тебе от роду двадцать лет...» Когда она доходит до Маруси, которая будет «плакать и рыдать», его самого охватывает неизъяснимая грусть, и он тихо плачет под безысходный припев: «По морям, по волнам — нынче здесь, завтра там» — и, кажется, уже чувствует, что они живут в нескончаемом ожидании кого-то, чье имя — отец.

Еще раньше, когда ему нет и года, его поят из столовой ложки горчайшей микстурой, держат на коленях все в том же тусклом свете, отвоевавшем у тьмы лишь небольшое желтое пятно, перед лицом безжалостно замерла огромная столовая ложка в настойчивой материнской руке, желтый металлический отблеск на обводе, отблеск в подрагивающем, прозрачном, как вода, растворе — и он должен это выпить, и долго готовится, зная, что сопротивление бесполезно, и в какой-то момент ему все равно обожжет язык жесточайшая горечь. Его лечат от малярии.

А еще раньше — ему всего шесть месяцев — он потянул за провод электроплитки, свисавший над его кроватью, и опрокинул на себя кастрюлю с кипящей водой. Врачи говорили матери, что он ослепнет и что отсохнет левая рука, которая больше всего пострадала. Когда он вырос, мать вспоминала, что он вел себя мужественно и не плакал, только постанывал — след остался лишь на руке, и он не раз по просьбе Кати, помешанной на историях из своего и родительского детства, рассказывал об этом печальном случае. Но не запомнил он ни боли, ни искаженного отчаянием лица матери, ни врачей, ни перевязок, а только то, что было до этого мгновения, — кровать, и он в ней, и что-то булькает у него в головах, распространяя теплый, влажный запах. Ему даже кажется, что он помнит тот шнур, к которому потянулся... Память о раннем детстве обострена ощущением разлуки и войны. Вряд ли он сам мог тосковать по тому, кого не знал и к кому не привык, — тосковала мать. Он не помнит, чтобы она разговаривала с ним, — помнит ее, молчащую или тихо напевающую, склоненную над чем-то, наверно, шитьем, помнит ее голову, заслоняющую пятно света, золотистый нимб ее волос... Что бы она ни делала, он чувствовал ее разлучную тоску, отчаяние и надежду — они передавались ему, вызывая такую же отъединенность одиночества. Позже он не раз слышал от отца, как тот провожал их до парохода, втайне зная, что не вернется из Москвы, и как под Сталинградом плыли по реке трупы красноармейцев в кроваво-белых бинтах, но, только став взрослым, сын однажды осознал, что все это было на той же великой реке, по которой уплывала с ним мать все дальше от войны. Не те ли струи, что качали отошедший от ульяновской пристани пароход, омыли под Сталинградом забинтованные раны бойцов.

Пройдет зима, и за битву под Сталинградом отца наградят орденом Красной Звезды, наступит лето — и на Курской дуге, на минных полях, поставленных его бригадой, будут рваться немецкие танки, и еще один орден — Отечественной войны II степени — появится рядом с Красной Звездой; отцу дадут краткосрочный отпуск, и он помчится домой — к жене и сыну.

Все это время в комнате, где они живут, из черной картонной тарелки репродуктора раздается пугающий голос, и слова «от Советского Информбюро» так до конца войны и останутся непонятым сказочным заклинанием, но, кроме них, еще есть музыка военных маршей. Эта военная музыка надолго зазвучит в его душе — слышав ее, он будет подбегать к послевоенному радиоприемнику в желтом деревянном ящике со светящейся шкалой, поворачивать на полную громкость ручку и, схватив крышки от кастрюль, маршировать по комнате, высоко поднимая колени и оглушительно хлопая крышками в такт. Даже потом, в армии, что-то знакомо вздрогнет в нем, когда он, лейтенант, заскочит до утреннего развода в клуб части на репетицию духового оркестра — и, сотрясая деревянные своды, грянет знаменитый марш «Парад Победы».

Пугающий голос из репродуктора — одно из самых ранних впечатлений жизни, как и та узкая длинная комната со столом у окна, с черным дерматиновым, всегда холодным диваном у стены, на котором он лежал, когда раздался нетерпеливый стук в дверь, и затем возглас матери: «Юрочка!», и смущенный, хриловатый, ранее не слышанный, но навсегда родной голос отца, заполнивший этот миг вспышкой счастья.

— Да нет же, — говорили ему, когда он вырос, — первый раз ты встретился с отцом после войны, тебе было уже три года.

— Ты был во дворе, — говорил ему отец, — ты был серьезный, хмурый, что-то обдумывал. Меня, конечно, не узнал.

— Ну как же? — горячился сын. — Откуда же я тогда помню, что лежу на черном диване, раздается стук в дверь, и голос мамы «Юрочка!», и твой смешок? Помню, как ты посмеивался.

Мать задумывается:

— Юра, а ведь он прав. Ты приезжал с фронта, помнишь? Когда же это было?

— Это было... — сосредоточивается отец, — летом 1943 года. Я приезжал после Курской битвы. Только тогда, сын, ты был слишком маленький, ты не можешь этого помнить...

— А я помню! — чуть не плача, настаивает сын. Ему шестнадцать лет, и он ведет дневник.

— Это мы тебе просто рассказывали, — говорила мать.

— Где же рассказывали, когда вы сами забыли!

Но, кроме той вспышки, того озарения счастьем, той радости, прервавшей сучающуюся нить ожидания, печали и надежды, он не помнит больше ничего.

И — отца, кроме как в дверях в тот миг, когда к нему на шею бросилась мать, и они замешкались на пороге, споткнувшись о его черный чемодан, — кроме его лица в профиль, его фуражки, его шинели... Не помнит, как отец подошел к нему, взял на руки — он еще только начинал ходить, — поцеловал, прижал к себе. И может быть, он даже заплакал, то ли от радости, то ли от страха, и это кольнуло душу отца, но он скрыл огорчение, без труда скрыл — столько тепла, неизрасходованной нежности и любви дано ему было военной разлукой.

И это тоже загадка — почему родители запомнили другое, по какому закону чувства? Почему-то матери больше всего запомнилось, как они с отцом ходили в кино. С кем же оставили сына?

Так, значит, кино — в битком набитом зале, доверившемся чьим-то экранным судьбам. И разудалый свист с первых рядов, громкие реплики по поводу происходящего на экране. Там впереди сидела шпана, короли обезмужившего города, города женщин, детей и стариков. Зрители пугливо молчали, и, вдохновляемый этим испугом, ржал и нагло посвистывал первый неподсудный ряд.

Отец заволновался, порываясь встать. Мать испуганно схватила его за локоть:

— Умоляю, седи!

— Я им сейчас покажу, — гневно сказал он.

— Стой, не надо!

Но тут порвалась пленка, вспыхнул свет, и отец — он был единственным военным в зале, — выбравшись из ряда, пошел по проходу.

— Я поразился, — рассказывал он взрослому сыну, — там сидели морды, одна преступнее другой, с такими же девахами на коленях. На губах семечки, на полу шелуха. Я шел вдоль ряда и бил перчатками по этим физиономиям. Я им сказал, что перестреляю всех, как сукиных детей. Правда, пистолета у меня с собой не было...

Мать вспоминала иначе:

— Только они увидели отца в орденах, как их словно ветром сдуло...

Отец был деликатным человеком — поднять руку он мог только в приступе бешенства.

И снова война — еще почти два года войны, — и только ожидание, ожидание и тревога. Как называлась та лампа, освещавшая их жилье? Однажды он наткнулся в какой-то книге о войне на ее название, но забыл, утратил. Не керосиновая лампа с фитилем, а что-то иное. Газовая, карбидная, калильная? Под стеклянным в металлическом оплетье колпаком — гудящая, ослепительная. Когда перегорала, мать снимала колпак и заменяла внутри посеребривший сетчатый мешочек на новый, белый, который покупали они в полуподвальном хозяйственном магазине, где пахло керосином. Одно из детских чудес...

И почему-то нет в той памяти его тетки, тетушки, хотя потом она, наделенная прекрасным, от природы поставленным колоратурным сопрано и тонким музыкальным слухом, откроет ему мир другой, не военной музыки, и никогда больше, замирая от ужаса и восторга, он не увидит и не услышит такой «Пиковой дамы», какую она разыгрывала по вечерам перед ним, — хотя тетя проживет совсем иную, далекую от театра и оперы деловую жизнь заводского инженера, специалиста по осветительным приборам... Только одно воспоминание из той поры связано, видимо, с ней: вдвоем они осторожно спускаются по глухой деревянной лестнице — темно, высоко, круто — и он слышит ее вскрик: «Фу, крыса!» — и что-то, мерзко, глухо стуча, шарахается из-под ног. В свободной его руке круглая металлическая баночка из-под гуталина... — таким, в тесном пальто, шарфе и шапке-ушанке, он увидит себя на зимней фотографии 1945 года. В руке у него та самая баночка, которая потом куда-то пропадет, и он помнит чувство этой потери...

А с фронта будут приходить письма, в каждом из которых есть для него открытка, он уже понимает, что это из-за границы, где отец сражается с врагами. И тем сильнее они будут удивлять его, эти открытки. Одну он помнит до сих пор — ее яркие веселые цвета. Это в форме почтальона мчится на самокате счастливый голубоглазый мальчик, его почтальонская сумка на ремне отлетела назад, раскрылась, и из нее выпархивают твердые белые прямоугольники писем — и, догоняя почтальона, со всех ног летит за ним маленький лохматый пес — он держит в пасти оброненный конверт. Несколько мыслей будут долго занимать его — что не все письма успеет подобрать пес, но что еще важнее и непонятней — разве могут у врагов, с которыми воюет отец, быть такие веселые, радостные картинки?

«В начале мая 1943 года наша бригада уже в качестве 1-й гвардейской двинулась на Центральный фронт к Рокоссовскому, на позиции восточнее и севернее Курска...

У северного основания Курской дуги немцы вклинились в занимаемый нами передний край обороны на глубину около километра и ширину метров двести. Получив приказание комбрига, я выехал в 13-ю армию генерала Пухова, чтобы обеспечить ее в минировании и разминировании. Батальоны бригады, прибывшие вместе со мной в село Легостаево, где разместился штаб армии,

сразу же приступили к созданию зон заграждения, прежде всего — противотанковых минных полей.

Чтобы ввести в заблуждение противника, действительные минные поля мы устанавливали только ночью, причем, тщательно замаскировав мины, оставляли их без ударных взрывателей с детонаторами. По таким неогражденным и неохраняемым минным полям днем безбоязненно ходили люди, ездили автомашины. Действительное минное поле должно было приводиться в боевую готовность только к началу наступления немцев. Специально обученные расчеты минеров каждую ночь тренировались в снаряжении мин, но, естественно, вместо детонаторов использовали деревянные палочки.

Рядом с действительными минными полями мы устанавливали ложные. Работы тут велись только днем. Минеры тщательно вырезали квадратики дерна, с подъезжающих машин разгружали и складывали по краям поля мины. Ложные минные поля мы ограждали колючей проволокой, вывешивали дощечки с грозными надписями: «мины», выставляли вооруженные посты. Устанавливались минные поля и на главных дорогах, но они были управляемыми и приводились в действие специальными расчетами только при появлении противника.

Все было готово...

Накануне своего наступления на Курской дуге немцы по традиции сбросили на нас листовки, в том числе с картой расположения наших частей и наших минных полей. Я с волнением поднял одну из таких листовок и, кажется, впервые за время моего участия в Отечественной войне испытал настоящую профессиональную радость — что касается минных полей, то в листовках указаны были только ложные. После 5 июля, когда немцы, потеснив нас на несколько километров, напоролись на нашу первую зону заграждений, я уже смеялся над ними. Тщательно обходя наши ложные поля, они бросали свои танки на действительные и рвались на минах. Подорвавшиеся танки крутились на месте, и их метко расстреливала наша артиллерия, бомбила авиация...

На минных полях, установленных нашей бригадой, подорвалось 150 танков противника. То же самое происходило на дорогах, где действовали подвижные отряды заграждения. Ни одной из этих дорог немцы так и не смогли воспользоваться.

Действия минеров в отражении наступления немцев на Курской дуге были достойно оценены не только командованием 13-й армии, но и командующим фронтом К. К. Рокоссовским. Я был отмечен в приказе по Центральному фронту с вынесением благодарности сразу же после 5 июля, а вскоре был награжден орденом Отечественной войны II степени и, кроме того, получил возможность почти через год после разлуки вновь увидеться со своей семьей.

Мои отчеты о боевых действиях батальонов по разминированию и труд по обобщению нашего опыта, тоже написанный мной, получили высокую оценку в Москве, и это привело начальство к мысли о назначении меня начальником штаба инженерных войск армии. От назначения я отказался. На такой должности я, конечно, сделал бы карьеру, но мне прямо-таки претило думать об этом, когда вокруг меня ежедневно гибли люди.

...Как-то ночью по дороге в один из батальонов автомашина, в которой я ехал, своими фарами — а в то время мы иногда уже ездили с полным светом — выхватила из темноты нашу мирную русскую буренушку, запряженную в телегу с какой-то кладью. Рядом с телегой шагала молодая женщина с грудным ребенком на руках... Трудно сказать почему, но картина эта и сейчас стоит перед моими глазами, и, как тогда, у меня сжимается сердце от жалости к ребенку, женщине и буренушке, и в нем закипает ненависть к немецко-фашистским захватчикам.

В свои пять-шесть лет он помнит не отрывочное, а многое, одно за другим. Они живут в Тильзите — Советске. И с ними отец — депутат городского Совета.

Три года назад Сергей ездил в Калининград... Господи, это же рядом! Рядом с тем детством, которое в памяти осталось счастливым.

— Ты мне нарисуй, где мы там жили, — попросил он отца.

— Наш дом — не доходя до моста через Неман, если идти из центра города. Вот здесь. — И отец нарисовал квадратик. — Мост там основательный, серьезный, он должен сохраниться. Рядом с нами соседнее здание — кирпичное, четырехэтажное, в нем размещался тогда Дом офицеров. Оно тоже должно сохраниться. — И рядом с маленьким квадратом возник квадрат побольше. — Наш дом был одноэтажный, ты помнишь его?

Послевоенное детство, сорок седьмой год.

Вот они с отцом вечером при желтом свете настольной лампы, отгородившем их от остального мира, большого, но не страшного, делают флажки для новогодней елки. Они вырезают их из больших пестрых листов — маленькие разноцветные прямоугольники со странными сказочными зверями. У одного из этих зверей на лошадином туловище растет целая гроздь голов, но головы тоже не страшные, каких-то маленьких зверьков, может, белок — семь голов на стеблях шей. Осталось только загнуть смазанный клеем краешек флажка — намазывал отец — и пропустить внутри черную нитку. Нитка этих флажков, правда, их осталось не больше десятка, — появляется на елке до сих пор. Сколько всего прошло — а они почти такие же, эти зверюшки, озадачивавшие в свое время и маленькую Катю. Первое их с отцом и, кажется, последнее совместное творчество.

И тут же рядом — типографское цветное чудо бумажного крейсера, окантованного зубчиками по всем своим выкройкам. Казалось невероятным, что все это можно вырезать и склеить — они и не вырезали. Только однажды в гостях он держал такой вот склеенный крейсер, и его поразила тогда разница между невоплощенной, захватывающей дух мечтой и этой тощей, с западающими боками, бумажной явью ...

А вот — другое. Его ведут вниз, в подвал, стены подвала из красного кирпича, горит яркий свет, и на стене, на гвозде вместе с солдатским ватником висит автомат с круглым диском. Вид автомата, восторг перед ним.

Первое в его жизни настоящее оружие. А потом отец откроет дверцы шкафа и достанет оттуда тяжелый деревянный футляр во всем его лакированном блеске, перетекающем из широкой части в узкую, длинную. Футляр откроется и явит в холодном мерцании вороненой стали маузер.

— Пойдем, — сказал отец, — покажу, как стрелять.

И они пошли в лес. Они шли именно в лес, хотя он совершенно не помнит этот путь. Зато помнит выстрел в пустом осеннем березняке, и дырку в блестящей консервной банке, возникшую раньше, чем отозвалось короткое эхо. И удивление — куда делась пуля. Подняв банку, он долго искал ее, а отец улыбался. Потом незнакомый человек в кепке прошел невдалеке меж стволов, оглядываясь на них...

Был еще пистолет, и отец, вынув из него обойму, давал подержать и пощелкать собачкой. Его холодная рубчатая тяжесть, выламывающая запястье...

Какие-то вовсе мелочи. Свет, солнце, ощущение праздничной высокой чистоты комнат, чистоты, и простора, и заполненности теплом. Откуда тепло, он не знает и не задумывается над этим. Просто ему хорошо и радостно, и он не подозревает, что тепло это — от двух больших взрослых людей, которые любят друг друга.

Стул, каких уже не делают, круг дырочек в фанерном сиденье с выдавленным на нем узором. На этом полированном светло-коричневом сиденье целая горсть самых разных карандашей. Он предпочитает ребристые — они с приятным тарактенем катаются туда-сюда по гулкому сиденью, если стул наклонять. Карандаши замечательно затачивает отец — нежно-светлая плоть дерева под краской, на каждой грани зубчик. Если карандаш сломается, из него можно вытащить грифельный столбик, хрупкий, пачкающий пальцы.

Летним утром — солнце в открытые окна, отец в белоснежной шелковой майке, веселый, что-то мурлыкающий себе под нос — напрочь лишенный музыкального слуха, он до глубокой старости сохранит привычку что-то постоянно напевать, и она передастся сыну — этим самым утром вдруг загорелась электропроводка на стене у потолка. Резкий, прерывистый треск, белесые бледно-розовые искры, дым и чернеющие обвисающие ошмотья проводов. Вскрикнула мать. А отец, он держал в руках полотенце, которым обтирал только что выбритые щеки, отец вместе со стулом, с которого рассыпью попадали очинённые карандаши, подскочил к стене и, встав на него, стал бить полотенцем прямо по бегущему вдоль стены бледному, трещащему бенгальскому огню. Отец предотвратил пожар, но комната наполнилась едкой вонью, и пришлось открыть двери, и дым нехотя вытекал из окон и пропадал в ослепительно голубом солнечном небе. А через минуту отец снова забормотал какую-то песенку, и лицо его снова стало веселым и счастливым.

Да, это свое детство он помнит как что-то слитное, постоянно перетекающее из одного в другое. Наверно, и он был тогда счастлив, постоянно счастлив, как потом уже не был, а только бывал счастлив, скажем, в летнюю пору на берегу Рижского залива, до семнадцати лет, в пору неистойвой надежды и робкого поиска. Позднее кончилось и это... Разве что только когда влюблялся и любил... Но нет — это было уже другое счастье, зависимое — источник его находился не в нем самом и потому приносил и муку... а тогда, прежде, счастье помещалось внутри как дар, неизвестно за что и почему так надолго данный...

Итак, был дом, одноэтажный, с пятью высокими окнами, выходящими на тихую улицу, мощенную булыжником. Где потом он видел еще такие дома — в Москве, Киеве? А может, окон было больше? Слева дверь и ступеньки крыльца, еще левее — прилепившаяся к стене арка ворот — самих ворот он не помнит — для карет? автомобилей? Была легковая машина — «опель-капитан». Она подкатывала к детскому саду. Но этого он не помнит. Знает от родителей, что однажды они услышали, как он, важничая перед стайкой теснившихся детей, говорил:

— Тебя возьму покататься, а тебя не возьму...

С тех пор на машине за ним больше не приезжали.

Было пианино, и мама, неизвестно где и когда научившаяся играть, извлекала из него громкие, исполненные неожиданной патетики аккорды. Приходил к ним в гости некто Забродский, прокуренный подполковник с большим крепкогубым ртом и грубыми, едва он начинал улыбаться, морщинами на щеках. Он тоже любил подсаживаться к пианино и, давя клавиши сильными пальцами, громко пел почему-то всегда одно и то же: «Голландский сыр! Голландский сыр!» Забродский ухаживал за матерью. Впрочем, тогда все знакомые пытались за ней ухаживать. Был большой дом с большой и светлой гостиной, окна в сад, винтовая лестница на чердак...

Иногда он думает, почему не остались там и не жили в этом своем первом и последнем доме. Потом, почти тридцать лет, у них не будет и квартиры... Было крыльцо, огромное каменное полукружье, спускающееся в сад. Был сад. Осенью на его неухоженных яблонях все же засветились плоды... Были кусты смородины, увешанные изнутри прозрачно-желтыми и красными гирляндочками ягод. Они едва помещались во рту — терпкая сладость, пока он, сжав зубы, вытаскивал обратно пустой стебелек.

Осенью на единственную в саду грушу залез чужак. Груша была старая, высокая, и, чтобы добраться до плодов, ему пришлось карабкаться чуть ли не до верхушки. Он сидел там, обхватив ногами ствол, — человек в серой послевоенной одежде, в кепке — похожий на того, что прошел мимо них в пустом березняке, поглотившем эхо выстрела, — и мать, вышедшая на крыльцо, гневно отчитывала его. Но он сидел наверху и не торопился слезать, и мать становилась все возмущенней, и было тревожно оттого, что человек не пугался ее слов.

... Друга звали Валерой, он был на два года старше и жил в доме на другой стороне улицы. Каждый день он приходил в гости, и они играли. В конце концов он, видимо, и унес тайком тот игрушечный серебристый трофейный пистолет, потому что больше не приходил. А прежде они забирались с простыней на подоконник и прыгали вниз, как парашютисты. И лазали среди развалин разбомбленных домов на дальнем конце улицы. Появляться там запрещалось, но любопытство было сильнее. Среди мусора они нашли детскую книжку с немецкими буквами и

стали ее листать. Там было много картинок — веселых жуков и стрекоз, — и он почувствовал эту непередаваемую чужую веселость. Они так и бросили ее там на гряде камней, и ветер перелистывал ее растрепанные страницы с веселыми чужими насекомыми...

Однажды из толпы, собравшейся возле развалин, вынесут семилетнюю девочку с синим лицом.

— На провод наступила, — скажет кто-то. — Током ее убило.

Первая увиденная им смерть — он помнит эту в летнем платье худенькую девочку с закрытыми глазами на синем лице. И почему-то навсегда свяжется в его сознании мертвая девочка и та книга, которую некому прочесть.

...На Немане — плоты, бревна в связках, как острова, по ним туда-сюда снуют мальчишки. Бревна упруго обходит вода, завихряясь за их торцами. Теплая шершавая кора под ступнями, теплая вода, в которую смельчаки, не боясь глубины, ныряют прямо с плотов, неистово спеша назад, чтобы не унесло течением... В стайке мальчишек он бежит по длинному свежему бревну, соединившему плот с берегом, под ним идет темная вода, ему остается сделать два шага, чтобы ступить на плот, но темная вода внизу завораживает, и, оступившись, он уже не противится ее притяжению. Он падает молча и сразу, будто только это и было его единственным намерением, уходит в глубину и, не понимая, что с ним и где он, видит над собой переливающиеся пятна зеленого света, разлетающиеся блики, он тянется к ним, но погружается все глубже или не погружается, а висит, не в силах оторвать взгляда от взбудораженной поверхности, которая так далеко. В ушах нарастает гул, и больше он не помнит ничего. Его больше нет. Его нет нигде. Перед тем как его не стало, он не успел испытать страха — разве что изумление и растерянность перед состоянием, неизвестным ему, перед этой вспыхивающей текучей зеленой далью над ним...

Он приходит в себя под солнцем, на теплом желтом песке, на берегу той же самой реки. Он сидит на песке, как будто вдруг проснувшись, и видит ноги ребят, окруживших его. Они встали поодаль широким кругом, чтобы он мог свободно дышать теплым ветром, несущим с реки запах воды и бревен, — он видит их загорелые, в белых и темных ссадинах ноги, их ободренные коленки, их мокрые трусы. Он сидит, он слишком слаб, чтобы сразу подняться, голова кружится, и он чувствует не радость того, что жив, потому что не понял, что было до этого мгновения, а приниженность перед остальными и как бы свою вину. Потом ему скажут, что вытащил его и откачал ординарец отца. Как же его звали?

Все мальчишки делали тогда самокаты — такое было время. Чтобы сделать самокат, нужны были два подшипника, две доски и небольшая круглая чурка. В краях двух досок — руле и подножке — выпиливался квадрат, здесь на деревянной втулке укреплялись подшипники. К подножке прибавалась чурка с петлями из толстых гвоздей. Такие же петли делались на рулевой Доске. Они соединялись металлическим стержнем. Теперь оставалось прибить к рулевой доске рукоятку — и самокат готов.

Самокат ему кто-то сделал. Может быть, ординарец отца — красивый, высокий, молодой. На сохранившихся фотографиях той поры у него снисходительно добрая улыбка покорителя женских сердец. У него длинный ноготь на левом мизинце и серебряный трофейный портсигар, о тяжелую защелкнутую крышку которого он постукивает папиросой «Казбек». Самокат накатиисто несется по тротуару, гремуче голоса своими подшипниками, норовит вырваться из рук, и самое большое желание — это показать отцу, как он умеет кататься. Он долго уговаривает отца выйти посмотреть, наконец отец выходит. Он спускается с уличного крыльца и стоит нетерпеливо, только голову отклонив, в его позе притяжение к делу, от которого он оторвался, сильнее интереса к сыну — лицо его недовольно. Сын поспешно хватается за ручку самоката, изо всех сил отталкивается ногой, но происходит непоправимое — самокат с треском рассыпается под ним на все свои составные. Сын стоит обескураженный, а отец, мотнув головой, словно иного и не ожидал, уходит в дом. Самокат почему-то так никто и не починил.

Тут начинается еще одна тема — конфликты с отцом, большие и маленькие, через всю жизнь до тех пор, пока тот, уже стариком, не перестал гневаться, ибо гнев — признак силы. Их было немного, этих конфликтов, — может быть, потому сын помнит все. Утихомирить отца, и то не

всегда, могла только мать. Гнев... Видимо, чаще всего он бывал справедлив, если только справедливо гневаться на своих детей.

Первая ссора с отцом. И все из-за того, что пропал игрушечный пистолет. Замечательный пистолет, блестящий, как серебряная фольга, стреляющий стрелами с резиновыми присосками. Стрела упиралась в ладонь, утапливая приятно сопротивляющуюся урчащую в дуле пружину... Этот пистолет пропал. И долгое выяснение, куда он делся. Почему-то это вдруг оскорбило отца. Тяжелый разговор, быстро переросший в отцовское бешенство. Где пистолет? Пистолета нигде не было. И вот сын ищет его под кроватью, за дверью, в углу, где свалены игрушки, ищет, зная, что его там нет, — но отец стоит над ним, раздается его страшный голос: «Ищи!» — и сын с безнадежностью ковыряется в игрушках.

В самом деле, куда он мог деться? Пистолета нет нигде, а еще недавно он был. Приходит в голову, что он завалился за пианино. Это последняя надежда — пианино так тяжело, что его никогда не отодвигают, поэтому за ним обязательно окажется пистолет, он должен быть там, хотя его никто туда не ронял, — должен, потому что это настолько таинственное и недоступное место, что там, без сомнения, что-то лежит.

— Что?! Здесь?! — пытая то ли сына, то ли самого себя, следует за ним отец и с напряженным лицом сдвигает пианино. Сын заглядывает в образовавшуюся щель — оттуда пахнет пылью и тайной, но лежит там только стрела с резиновой присоской...

Мгновения счастья и несчастья, оставшиеся в памяти на всю жизнь... Какой в них смысл?

Вот соседский двор, плотная темно-красная кладка кирпичных строений, ящики с огромными смугло-зеленоватыми бутылками, а из их горл винный дух забродившей вишни...

Вот он на своем дворе на лавочке, рядом с отцом, и кто-то перед ними старательно щелкает фотоаппаратом. Еще одно чудо — фотоаппарат. Нажмешь кнопку — и с сочным лязгом стремительно выскакивает черная гармошка, вынося на свет увеличительное стекло, усеянное по металлическому окружью циферками и рычажками. Сохранился и фотоаппарат, и эти снимки... И шерстяную кофту, что была в тот миг на нем, он помнит — синюю, с красными крапинками на груди, вроде газырей. И детский сад, где на Новый год устроен был карнавал, и он, в черном грузинском бешмете — вместо газырей были белые картонные трубочки, танцевал вместе с другими в большом длинном помещении, сожалея, что в толпе неразличим его наряд. А в другой раз на нем форма красноармейца, он делает шаг вперед — туда, где в два ряда стыдливо сидят приглашенные родители, и, беря винтовку наперевес, как воспитательница учила, звонким, стиснутым от волнения голосом поет: «Стой, кто идет? Стой, кто идет? Никто не проскочит, никто не пройдет!» В этот момент ему и вправду кажется, что где-то рядом, за кустом, притаился враг, и ему непонятно, почему чья-то сидящая с краю мама смахивает слезы с глаз.

Лето — и куда-то все идут, рядом лошадь, и его сажают прямо на нее, и он едет, покачиваясь, на ее теплом широченном крупе, раскинув ноги по дышащим бокам, на левой ноге у него язвочка, она трется о чуть колючий выпученный лошадиный бок, но это ерунда по сравнению с самой ездой, по сравнению с этой огромной, теплой, доброй лошадью, осторожно везущей его на себе.

Лето... Огромный теплый солнечный свет, блеск солнца на макушках деревьев и ветер — добрый, сильный, как руки отца, — приподымает над землей, приподымает сердце, готовое лететь вон за тот край поляны, над верхушками леса, за край земли — в солнечное бесконечное пространство. И посреди этого пространства какая-то сторожевая вышка. В стайке детей он бежит возле сухих и скользких деревянных опор. Маленькая будочка на огромных столбах с бесконечной лестницей вверх. Один за другим дети лезут по этой лестнице — и вот уже их головы мелькают наверху под темным грибком крыши, они кричат, и голоса их едва достигают земли. Ему тоже хочется туда, и он берется руками за теплую отполированную перекладину. Он лезет медленно: рука — нога, рука — нога, — и пока он просто лезет и глядит на эти блестящие теплые перекладины, все хорошо. Только ветер сильнее и шире, и телом своим он ощущает в теле лестницы дрожь. Невзначай он опускает глаза и видит под собой бездну. У него срывается нога, и, окаменев, он больше ничего не видит и не слышит, он как бы стал еще одной перекладиной

лестницы, а она раскачивается все сильнее, и, на миг открыв глаза, он видит далеко внизу в головокружительном крене землю, на которую ему уже никогда не вернуться.

Снимет его оттуда один взрослый мальчик. Он помнит его сопение у себя над ухом, его уверенную, рассчитанную на зрителей ухватку и как шаг за шагом приближается к ним земля, становясь добрей и безопасней. И стыд свой помнит хорошо.

А потом он заболел и лежал в ночи с высокой температурой и бредил — бред тот тоже остался в памяти навсегда.

...Вещи были очерчены сияющими разноцветными линиями. Из гремящих труб вылетали цветные штрихи фейерверка. Они сыпались в глаза, вращались, вырастая в уродливые, кривляющиеся головы. Головы приближались к нему одна за другой и корчили страшные рожи. Он бежит из этого полосатого города уродов и оказывается на огромном плоту, полном незнакомых людей. Плот отрывается от земли, но и над их головами пролетают уроды, толкая плот вниз. Плот так тяжел, что нельзя не ощутить его тяжесть, не почувствовать, как трудно на нем набрать высоту. Это чувство почему-то сосредоточено в животе, и, когда плот падает, в животе что-то обрывается, и поэтому надо напрягаться изо всех сил, будто каким-то таинственным образом он и есть этот плот.

...И еще — идут из гостей. Папа и мама — и он между ними. Они спускаются по лестнице, поддерживая его, — сколько ему лет? И вдруг из-за чьих-то дверей в репродукторе — бой часов Кремлевской башни. Их называют куранты, и для него это связано в сознании с тем, что раньше всех просыпаются и кричат петухи. Куранты замолкают, и гремит торжественный гимн. Самая прекрасная музыка на свете! И он с ликованием осознает, что первый раз в жизни так поздно еще не спит!

«Однажды минеры батальона Гасенко под Калининичами натолкнулись на совершенно необычные мины. Осмотрев одну из таких мин, я решил, что их следует без каких-либо предварительных манипуляций снимать с проходов в минных полях противника и складывать в стороне для последующего подрыва. Однако мне не терпелось допытаться, что же они из себя представляют.

Мина имела вид круглой алюминиевой банки диаметром сантиметров пятнадцать, с конусом, направленным внутрь. Дно было на резьбе. Форма мины указывала на ее кумулятивное действие, при котором взрыв направлен в сторону основания конуса. Удивляло, что в найденной мине снаружи нет никакого взрывателя.

Я попросил одну такую мину привезти в штаб батальона. По окончании боя я взял ее с собой, и она долго хранилась у меня в землянке около Речицы. Как только выдалась свободная минута, я решил заняться этой миной.

Прежде всего надо было снять с нее крышку и рассмотреть ее устройство. На всякий случай я опустил мину под стол, но тут же подумал, что если она взорвется, то мне вырвет живот. Тогда я придумал другой вариант. Землянка разделялась бревенчатой перегородкой, не доходившей до потолка, на два помещения — в одном стояла моя койка и стол, а в другом — койка ординарца. Встав у края перегородки, я раздвинул бревна, просунул в щель левую руку и, взяв мину правой рукой, переложил ее в левую. Затем правой рукой я стал осторожно вывинчивать дно. Сделав почти целый поворот, я выглянул из-за перегородки посмотреть, как идет дело, и в этот момент мина взорвалась. В первое мгновение блеск и грохот ослепили и оглушили меня, но тут же я осознал, что жив и, кажется, даже не ранен. И действительно, благодаря тому, что взрыв был направлен в пол землянки, я отделался сказочно легко. Один небольшой осколок мины попал мне точно в переносицу, другой в подбородок, третий разбил среднюю фалангу мизинца правой руки, несколько мелких осколков впились в левую руку. Еще более незначительные ранения получила девушка из штаба бригады, в этот момент заглянувшая в землянку, — несколько крошечных осколков попали ей в нижнюю часть живота.

Правда, от взрыва немного пострадали мои глаза. Сам я не смог идти до медчасти штаба — меня туда привели. Я попросил стакан водки и выпил его, пока мне перевязывали лицо и руки. То, что я почти перестал слышать на правое ухо, я обнаружил позднее.

Из военного госпиталя, куда меня поместили, я ушел своим ходом на третий день.

В госпитале у меня было время подумать над тем, чему я вообще научился на фронте и что мне следует делать в дальнейшем. Тогда я и пришел к выводу, что мне пора уйти из бригады в какую-либо другую, воюющую, может быть, не так успешно, как наша гвардейская. Мне казалось, что наша бригада уже не столкнется с чем-либо новым, и что пришла пора не искать новое, а передавать свой опыт. О моем намерении узнало мое начальство, и вскоре после моего выхода из госпиталя был получен приказ о назначении меня помощником командира Отдельной механизированной инженерной бригады специального назначения, действующей на 3-м Украинском фронте.

К новому месту назначения я выехал со станции Речица, еще не окончательно оправившись от ранения. У меня продолжал гноиться мизинец правой руки, и приходилось чуть ли не каждый день делать перевязки. Ехал я по железной дороге через Гомель и Бахмач до Днепропетровска, а далее добирался до штаба 3-го Украинского фронта на попутных машинах.

В штабе инженерных войск 3-го Украинского фронта мне сообщили, что с минуты на минуту должен приехать мой командир бригады полковник Бабурин. Комбриг и в самом деле вскоре появился. По дороге в штаб бригады, а ехали мы на прекрасной трофейной машине, я много и восторженно рассказывал об Иоффе и его гвардейской бригаде и, как мне показалось, вызвал этим ревнивое недовольство моего нового командира. По дороге же я узнал, что батальоны бригады заняты разминированием огромного количества минных полей в Криворожье. Кроме того, бригада получила задание срочно разминировать Днепрогэс и подготовить его к восстановительным работам. Это задание Бабурин рассматривал как правительственное, и потому штаб бригады был переведен в Запорожье, куда мы и направлялись.

С Днепрогэсом в моей довоенной жизни было связано немало. Здесь, на станции, в ее предпусковой период, я проходил производственную практику. Я был в составе специалистов Ленинграда, посетивших Днепрогэс в 1933 году. Здесь до войны работал окончивший вместе со мной Киевский политехнический институт мой друг Сергей Вавилов. Поэтому ясно, с каким интересом я ожидал приезда в Днепрогэс и с каким удовлетворением получил приказ возглавить работы по его разминированию.

...Едва познакомившись с составом технического отдела бригады и других подчиненных мне служб, я с двумя офицерами и двумя минерами отправился к месту предстоящих работ. Осмотр мы начали с самой электростанции и вскоре убедились, что дел здесь немного. При отступлении немцы рассчитывали взорвать плотину и поэтому, естественно, не занимались электростанцией. Разрушение плотины на долгие годы отбросило бы восстановление Днепрогэса, и они это прекрасно понимали. Готовились они к взрыву заблаговременно и, как выяснилось, фундаментально. Донные отверстия, служащие для регулирования уровня воды, подаваемой гидротурбинами, были наглухо забетонированы со стороны верхнего, а затем и нижнего бьефа, а в самом тоннеле, идущем вдоль плотины, было заложено большое количество многотонных авиабомб.

Взрывать плотину немцы собирались электрическим способом, для чего в авиабомбы были вставлены электродетонаторы, подсоединенные к проводам от кабеля с западного берега Днепра. Достаточно было дать в кабель ток — и плотина взлетела бы на воздух. Этого не произошло только потому, что подводный кабель недалеко от входа в донные отверстия был перерезан. Не знаю, кто сделал это. Но, вне всякого сомнения, это был человек исключительной находчивости и смелости — он должен был перерезать кабель за считанные минуты до того, как дадут ток. Иначе бы немцы успели найти повреждение...

С западного берега Днепра на плотине был виден убитый солдат. Трудно было понять, как и с какой целью он оказался на ней, но я почему-то подумал — не тот ли это герой? Переправившись на восточный берег Днепра, я вместе с одним минером пошел по плотине к убитому советскому

солдату. Он лежал головой на запад, уткнувшись лицом в плотину, раскинув руки, — как бы обнимая ее и прислушиваясь к тому, что происходит в ее заминированном теле. Документов при нем не оказалось...

Извлечение авиабомб из донных отверстий представлялось исключительно сложной задачей. Логично было предположить, что немцы установили там же в качестве подстраховки и мины замедленного действия. Это предположение обязывало нас спешить. Прежде всего следовало разрушить бетонные перегородки донных отверстий со стороны нижнего бьефа. Это можно было бы эффективно сделать с помощью взрывов зарядами направленного действия, но я учитывал, что немцы могли опять-таки оставить и вибрационные мины. Поэтому я решил уничтожать бетонные перегородки с помощью обычной кирки — пневматический молоток тут не годился.

Когда минеры стали вскрывать первые донные отверстия, я пошел на плотину. «Если плотина взорвется, я должен погибнуть вместе с ней», — решил я, убежденный, что иначе меня будут проклинать мои потомки, до двенадцатого колена включительно, и любой человек, увидев меня, будет вправе сказать: «Вот тот дурак, что допустил взрыв плотины Днепрогэса». Вскоре нам удалось проникнуть в донные отверстия через пробитые в бетонных перегородках лазы. Мин замедленного действия мы не обнаружили, но мин, взрывающихся от сотрясения, было предостаточно, так что пришлось извлекать их в первую очередь.

Минеры работали без перерывов на перекуры и принятие пищи — круглые сутки, — и вскоре я доложил комбригу, что приказ выполнен. Теперь оставалось только ликвидировать бетонные перегородки и подготовить плотину к восстановлению. Уничтожали их с помощью небольших зарядов взрывчатки. Чтобы не повредить плотину, взрывы производили по одному. Но и теперь солдаты и офицеры подвергались большому риску. Толщина бетонных перегородок, закрывавших донные отверстия со стороны верхнего бьефа, была неизвестна, с каждым днем мы их делали тоньше, напор воды был громаден — и в любой момент река могла прорваться, сметая людей.

Не произошло этого только потому, что подрывные работы проводились с ювелирной точностью. Интуицией подрывников мы вычислили тот самый последний взрыв, после которого в донные отверстия устремилась река. За эту работу начальство представило меня к награде — я получил орден Красного Знамени и почетное звание «Заслуженного энергетика», что, кажется, давало в мирное время какие-то льготы, которыми я ни разу не воспользовался.

...А люди уже отовсюду ехали на Днепрогэс, чтобы принять участие в его восстановлении. Если на Курской дуге я пришел к твердому убеждению, что наша победа над гитлеровской Германией недалека, то на Днепрогэсе я столь же категорически поверил, что мы в кратчайший срок восстановим все разрушенное врагом.

Переместившись из Запорожья в Кривой Рог, бригада проделала большую работу по разминированию Криворожья. Я, как обычно, проводил много времени в батальоне минирования. Врач батальона безуспешно пытался лечить мизинец на моей правой руке, который продолжал гноиться, доставляя немало неудобств. В конце концов мне это надоело, и в одно прекрасное утро я решил сам сделать себе операцию. Лезвием безопасной бритвы я вскрыл место нагноения и извлек из раны щепку, сложенную гармошкой. Через несколько дней после «операции» я забыл, что был довольно глупо ранен».

Из Советска уехали в далекий город Ригу, и была длинная дорога на двух грузовиках, осень стояла дождливая, но сквозь облака прорывалось солнце, и тогда все блестело вокруг — дорога, красная черепица хуторов, поле и лес за ним, зеленый, желтый и оранжевый с сизыми провалами облетевших деревьев. Машины были наши, полуторки — не те, американские «студебеккеры», рыкающие великаны с фарами, огражденными сетчатыми щитками, восторг мальчишек, — но все равно замечательные. В кабине первой машины рядом с водителем сидел отец, во второй — мама. Он же сидел в кузове на диванчике, накрытый плащом из жесткой голубой, гремящей при каждом движении клеенки. Сидеть под этим плащом с его огромным капюшоном было уютно и таинственно.

А машины шли и шли, весь день и еще день, и с высоты кузова было видно всю землю, то затянутую дождем, который пощелкивал по голубому капюшону, то распахнутую — светлую, с ее лесами и перелесками, с ее встающими из-за деревьев домами, сначала из крупного тесаного камня, потом — деревянными, как бы седыми, под бедными соломенными крышами, — и все было чудом: мост, и речка, и лужи, и локоть водителя с левой стороны кабины, и подрагивающее круглое зеркальце заднего вида, и прихваченные веревкой шкафы, кренящиеся на поворотах то в одну, то в другую сторону, и остановки, когда из передней машины вылезал отец, подходил к кузову, окликал его и, улыбаясь, смотрел на него снизу — седой голубоглазый офицер в гимнастерке с планками наград, в фуражке со звездой, — протягивал к нему руки и говорил: «Хочешь понюхать, как в кабине бензином пахнет?» — считалось, что это его любимый запах. И снова ехали, и разговоры взрослых, что путь небезопасен, в лесах еще скрываются банды националистов, кого-то да днях убили, и страх, когда на дороге проголосовал человек в сером помятом пиджаке, в серых брюках, сапогах, в серой же кепке, будто все тот же, из березовой рощи, где они стреляли с отцом, или на груше, в саду... Отец почему-то велел остановиться, и человек залез в кузов второй машины, и сидел наверху, чуть ли не на шкафах, упершись сапогами в борт и надвинув на лоб кепку, вольно и бездумно глядел куда-то вдаль, словно ему было все равно куда ехать, а потом под вечер он все-таки слез, а они поехали дальше...

Шел сорок девятый год, под ними в клубе ремесленного училища гремел духовой оркестр, и, приложив ухо к щелястому полу, можно было различить в слитном реве меди отдельные инструменты. Как он любил эти марши! Сколько раз ему доставалось от матери за обколотые эмалированные крышки от кастрюль...

У них были соседи — муж и жена. Мужа звали Семен Давыдович. Тихий, озабоченный, с горестным взглядом вечного неудачника, он не любил свою жену. И как это бывает с теми, кто не любит и в то же время виноватит себя, он год от года делался все зависимей. А зависимый человек сам умножает свои несчастья. Софья Алексеевна ревновала его. Чем больше он послушничал, покорно втягивая голову в плечи, тем меньше она верила ему и в конце рабочего дня бежала к двери его конторы, чтобы перехватить, пока его не увели другие женщины. Каждый раз он вздрагивал, завидев ее темную, быструю, вкрадчивую фигуру, легкую, как сухая трава.

И столь же вспылчивую — осмелся он перечить, как ее мгновенно охватывало гневливое пламя, которое долго не затухало под ее безудержными рыданиями. Бедный Семен Давыдович и не заметил, как помутился ее рассудок, потому что и себя, и весь мир давно стал считать немножко ненормальными.

Только и изменилось, что теперь она искала его даже дома, в пустой квартире, заглядывая в углы, молча, быстро, как собака-ищейка.

В том году Сергей пошел в первый класс. Рано утром перед школой, когда он, сидя на кровати, натягивал чулки и прислушивался к запахам кухни, где мама поджаривала любимые гренки, соседка бесшумно появлялась в дверях их комнаты и, не замечая его, быстро наклонялась, все высматривая мужа, потом так же стремительно исчезала, так и не подняв на него горящих глаз, освещенных только одной ей ведомой страстью.

Мать стала опасаться соседки и, если сын был дома, запирала его, уходя, или наказывала ему закрыться на щеколду. Вот эта закрытая дверь и сыграла в судьбе Софьи Алексеевны роковую роль. Потому что теперь-то ей стало ясно, где прячется Семен, — и она колотила в дверь кулаками, билась об нее своим сухим, ломким телом. Из пазов дверного переплета сыпалась штукатурка, а он, первоклассник, жался за дверью, вздрагивая от каждого удара и сдавленно, чтобы его не услышали, плакал.

Мать потом долго его расспрашивала, и тогда он сказал, что соседка ломилась с топором. Поверили и этому, так как печи в доме топились дровами...

Через много лет, в пору своих юношеских дневниковых признаний и открытий, он вдруг вспомнит и об этих соседях, снова увидит ломкую тень Софьи Алексеевны на пороге их комнаты и спросит мать, что же там было. Она и расскажет ему остальное, что он не знал, не видел и потому не мог помнить. Тогда он и исписал одним духом несколько дневниковых страниц,

попытавшись поставить себя на место больной несчастной женщины, когда-то до смерти пугавшей его. Может, так он и набрел на психологию?

...Родственники Семена Давыдовича, который умолял их, только чтобы его не выдавали, наутро вызвали санитарную машину, а мужнин брат Миша позвал Софью Алексеевну якобы за арбузами. Он шел впереди нее, приглашая руками, и вытирал носовым платком пот с шеи, торопясь пройти темную подворотню, за которой притаились санитары, — а она словно почуяла что-то и стала замедлять шаги, слыша, как отзывается эхо в сырой каменной подворотне, и почему-то догадываясь, что свет, больно бьющий в глаза с улицы через решетку ворот, в которых вырезана дверца, что свет этот и решетка нехороши и опасны, и, вовсе остановившись, замотала головой, крепко держа перед собой дерматиновую сумку.

— Ну что ты, Софа?! — подскочил к ней шурин. Он обливался потом, и по майке его от груди до живота пробило темную дорожку. — Беда с тобой... Арбузы, понимаешь... Очередь... Я первый... Если ты...

— Не тронь меня, убийца! — взвизгнула Софья Алексеевна, но он крепко держал ее за локоть, и тогда она ударила его сумкой, расцарапав щеку, — из прорванной окантовки торчало острие проволоки. Но, к ее ужасу, шурин, заслоня голову большими круглыми плечами, почему-то продолжал упрямо держать ее, и она снова замахнулась и тут услышала звонкие приближающиеся шаги — или это тяжелые арбузы покатались ей под ноги, так что она вдруг упала на колени, больно ударившись и увидев свой разорванный чулок — теперь на улицу она уж точно не выйдет, — но арбузы всё наваливались, и она раскидывала их, чувствуя, как непомерно тяжело рукам, а потом вдруг стало легко, и она отделилась от земли — только решетка ворот покачнулась перед ней, и, оглянувшись, она увидела, что это не арбузы, а потные головы, и закричала снова: «Убийцы!» — чтобы все это слышали и знали, потому что их подослал муж, чтобы засадить за эту решетку, и она вцепилась в нее — и, сколько ни бились, не могли ее оторвать, лишь уныло брякала цепь на воротах, пока дворник не догадался их открыть, — вместе со створкой она ударилась о стену и, выпустив прутья решетки, устремилась назад, где ничто не мешало, но ее настигли, подхватили, и нечеловеческая ее сила не спасла ее на весу.

И еще он описывал в дневнике свои детские галлюцинации. Они повторялись во время болезни, при высокой температуре... Будто потолок то далеко-далеко, то близко, и из его белой, лопающейся, как манная каша, поверхности вспухают пузыри лиц и лопочут, шлепают тубами, которые вытягиваются к нему, как тесто... а то будто сеть или паутина, и концы ее уходят в углы бесконечно высокого потолка, и он в этой сети, и чувствует невесомость свою, и будто паутина плетется вокруг него, то мелко, то широко — горячая, золотисто-желтая, и плетение это ведет к какой-то никак не проясняющейся мысли, и кажется, вот-вот станет ясно и легко, еще несколько нитей — и вся эта множась по окружности горячая золотая сеть объяснит, зачем ВСЕ ТАК... А потом, выздоравливающий, он еще хранит в себе ощущение этого нитяного, плетущегося, ничем не разрешающегося, тревожного поиска, хранит и думает — что же он искал? Еще страшней было ночью, когда, проснувшись, он различал в темноте какие-то силуэты, следил за ними, стараясь убедить себя, что это одежда на стуле, на вешалке, в углу — перед сном он специально все перевесил так, чтобы в темноте нельзя было принять это за живое и страшное, но вдруг неподвижный силуэт, шевельнувшись, кидался на него черной крылатой тенью убийцы.

— Мама! — вскрикивал он сквозь ледящий ужас. — Мама!

— Что? Что? — сразу же раздавался ее голос, и тут же вспыхивал яркий, убивающий страх свет. — Тебе что-то показалось?

— Да... — Он еще дрожал, глядя на висящий мамин халат. Ну конечно, она повесила его после того, как он уснул.

— Убери его, — просил он.

А после театральной постановки одной из пушкинских сказок — кажется, Это была «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», — уже и свет не помогал ему. Постановка началась с того, что в темном зале постепенно высветился вишневым занавес, и посредине его возник знакомый, со

скрещенными руками портрет Пушкина в золоченой раме. Пушкин с портрета глядел в зал, и глаза его странно мерцали под прожектором, казалось, что он даже чуть шевелится, — и вдруг портрет заговорил:

— У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том!..

На следующий день этот маленький, как мальчик, Пушкин в сюртучке, со скрещенными на груди руками, бесшумно, как увезенная в сумасшедший дом Софья Алексеевна, вошел в его комнату и, глядя мимо него мерцающим взором, зашевелил губами...

...Какой-то салют... Грохот за домами. Занимающийся свет, вырывающий из тьмы черные уступы крыш, и — нарастающий вместе со светом крик людей, высыпающих на балконы, и вдруг — счастье! — гроздь разноцветных, распускающихся огней, так что видно подрагивающее осеннее небо, крыши, трубы, несколько человек, вылезших из чердачного окна, — и снова все канет во тьму, а в дворовый колодец по уступам, по ступеням крыш обрушивается восторженный и грозный грохот.

Прошло еще шесть лет, прежде чем они стали жить вместе, а до того — только урывками, с долгими паузами, и вдруг возникающий из глубины этой паузы ожидания вопрос:

— Мам, а где папа? — Он служит. Далеко отсюда. Скоро приедет.

И отец действительно приезжал — раз-два в год, и сын, отвыкший от него, остро чувствовал запах его папирос, запах его кителя и запах его рук, его лица — родной, сразу узнаваемый, любимый вне разумения — и все же ревновал к отцу мать, ревновал еще тогда, в Риге, когда на ночь его почему-то отправляли в другую комнату, и в том, что мать оставалась наедине с отцом, чудилось какое-то принуждение, будто как жили они без отца, так и следовало жить, а еще один мужчина в их доме на какое-то время оказывался лишним. Сына задевала покорность, с которой мать уходила вечером в эту комнату, и его ранило оживление отца и то, что возникало между родителями помимо него, втайне.

«Мне, немало повидавшему в Великую Отечественную, нигде и никогда больше не приходилось видеть за рубежом такого отношения к Советской Армии, как в Югославии. Я даже не мог предположить возможность столь беспредельной и восторженной любви к ее солдатам и офицерам...

Первым югославским городом, в который я приехал, был Зайчар. Еще по дороге меня и моего шофера удивили восторженные лица югославок, с которыми они приветствовали нас. Когда же мы у первого небольшого дома вышли из машины, чтобы расспросить, как ехать дальше, к нам со всех сторон бросились молодые югославки. С громкими восклицаниями они окружили нас и все хватили наши руки, стараясь их поцеловать. Мой шофер Миша, ошеломленный таким приемом, совершенно растерялся, я же, чтобы не обидеть югославок, решил сам деликатно расцеловать их. Однако в ответ раздались еще более восторженные восклицания, и женщины заключили меня в объятия. Не помню, как нам удалось вырваться, ибо на смену одним молодым женщинам подбегали другие, а затем стали подходить старики и старухи — эти не улыбались, а плакали от счастья...

Как-то ночью, проезжая мимо кладбища на окраине какого-то небольшого селения, я заметил, что на некоторых могилах светятся огоньки. Удивленный, я велел остановить машину и направился к одной из таких могил. На низкой скамейке сидела девушка с милостивым печальным лицом, освещаемым пламенем свечи.

Она скромно ответила на мое приветствие — надо заметить, я довольно быстро научился объясняться по-сербски, — а затем неторопливо, с достоинством рассказала, что на могилах русских солдат, погибших в недавних боях, дежурят по ночам сербские девушки. С наступлением темноты зажигают свечи, и они горят до самого рассвета. Потрясенный, я спросил:

— Как часто вы здесь бываете?

— Каждую ночь. Даже в дождь. В такие ночи мы ставим на могилы фонари.

— Это ритуал?

— Да.

— И как долго он будет длиться?

— Сорок ночей после похорон, — ответила девушка. — А потом мы будем зажигать свечи в годовщину смерти и по большим праздникам до конца жизни.

Я поцеловал руку растерявшейся девушке и, едва сдерживая слезы, пошел к своей машине.

По пути в Свилайнец наша бригада то и дело обгоняла пехотные части наших и югославских войск. Однажды, обгоняя отряд югославских партизан, я заметил среди них несколько женщин. Одна из них была босая. День был холодный, только что прошел сильный дождь, дорогу залило грязью. Когда колонна партизан остановилась передохнуть, я попросил ординарца достать из моего чемодана запасную пару сапог и подошел к югославам. Я сразу отыскал молодую женщину, шедшую босиком, и заговорил с ней. Она оказалась из очень бедной семьи. Когда пошла в партизаны, у нее были ботинки, но потом износились, и их пришлось выбросить.

— Уже второй месяц воюю босиком, — весело улыбаясь, сказала женщина. — Привыкла...

Тогда я протянул ей сапоги:

— Возьмите, если только вам подойдет.

Нас сразу же окружили югославы, слышавшие наш разговор. Вслед за сапогами я протянул ей мешок из-под них, чтобы обтереть дорожную грязь с ног. Молодой женщине, выше меня ростом, статной и привлекательной, сапоги оказались впору, а из мешка она тут же смастерила себе портянки... Надо было видеть, как радовалась она моему подарку.

— Запомните, другарь, за вас всегда будет молиться Иванка, — сказала она на прощанье.

У хозяина, приютившего меня в Свилайнце, была замужняя сестра, жившая неподалеку. Муж ее, по национальности словак, служил на почте и почему-то проникся ко мне симпатией. Вместе с женой он часто приходил к нам в гости и подолгу беседовал со мной, расспрашивая о жизни в России, о нашем законодательстве, о партии. Почему-то в дни наших бесед обычно шел дождь, и я до сих пор помню, то по-сербски это звучит «киша нада». И вот этот словак пришел ко мне как-то рано утром бледный и расстроенный. К моему удивлению, он был бос. Выяснилось, что в минувшую ночь у него остановились наши солдаты, которых они с женой накормили, предоставили им свою постель. Рано поутру солдаты исчезли — уехали на подводе, прихватив ботинки хозяина и его карманные часы.

Я прямо-таки озверел, услышав это. Я знал этот сорт людей, которые под видом солдат, а то и офицеров двигались вслед за фронтом, ловя рыбку в мутной воде. Я повел словака к своей легковой машине, чтобы догнать обидчиков, но словак вдруг развел руками и заявил, что совершенно не знает, в какую сторону и по какой дороге они поехали. Подозреваю, что он просто догадался о моем намерении расправиться с подлецами и пожалел их.

Начальник снабжения бригады откликнулся на мою просьбу и выдал мне ботинки, которые оказались словаку впору. А часы я ему подарил свои. Но меня до сих пор гнетет воспоминание об этом горьком случае».

В сибирский поселок приехали осенью. Поселок был небольшой, но разбросан широко. Между его старыми избами и только-только строящимися двухэтажными каменными домами

чернели огромные котлованы под какие-то промышленные объекты. Пока не построили новую школу и пока семья не переехала по соседству с ней, Сережа ходил на занятия далеко, чуть ли не к самому краю тайги, где за оголенную, перепаханную строителями землю еще цеплялись корневищами спиленные деревья. Школой была большая изба с крутой крышей, но все избы были для него одинаковы, и почти каждый день, сбиваясь с пути, он опаздывал на первый урок.

С утра по раздрыганным дорогам мимо него топали колонны строителей-заключенных - все в одинаковых серых ватниках. Шли они по-особенному – с опущенными плечами, не так, как ходят военные, смотрели себе под ноги, руки их висели неподвижно вдоль тела, и в нарочитой неподвижности рук было что-то покорно-вызывающее. Иногда это были женщины, целые колонны женщин, повязанных платками. В один из осенних дней, когда заморозки еще не схватили намешанную грузовиками и тракторами грязь, он, перебираясь через дорогу, где грязь эта вспухала жирными рубчатыми гребнями, застрял на самой середине. Сначала он два удачно попал на твердый, продавленный колесом грунт и, балансируя на одной ноге, прицелился, куда шагнуть дальше, но промахнулся и опустил ее прямо в толстый наплыв жижи. Он тут же выдернул ногу — на нем были ботинки с новенькими галошами — и ощутил ее легкость — в полуметре от него алено нутро его галоши, в которую медленно со всех сторон натекала коричневая каша. Он потянулся за галошей и сделал еще один неверный шаг — вторую галошу тоже засосало в чрево дороги, и он заплакал.

Вытащили его зэчки, работавшие поблизости, отыскали и его галоши. Он сидел среди них, вытирая слезы, а они о чем-то говорили с ним, гладили по голове, отмывали ботинки, и одна из них достала из кармана стеганки кусок сахару и дала ему. Он сказал «спасибо» и пошел к дороге, а другая женщина, молодая, с черными смеющимися глазами, помогла перебраться на ту сторону. Он думал об этих женщинах всю дорогу до школы и, войдя в класс в конце урока, не стал объяснять, почему опоздал, и все смотрел на свои ботинки, обмытые в луже — на них выступили серые разводы, — и вспоминал задубевшие на ветру женские руки и часового, маячившего, поодаль.

Много позже, копаясь в своем сибирском далеке, он узнает, что поселок Березки получит название Томск-7, а затем Северск. Оказывается, там строили атомную электростанцию и первенец советской атомной промышленности химический комбинат, где будут производить обогащенный уран и плутоний. И зэки были лишь подножием огромной пирамиды, что складывалась по кирпичику усилиями многих тысяч людей, в том числе и специалистов инженерных войск, к которым принадлежал его отец, и на вершине этой пирамиды был никто иной как Лаврентий Берия, министр госбезопасности и внутренних дел, своим приказом переведший направленные на строительство инженерные войска в войска КГБ, что и послужило для отца поводом немедленно подать рапорт о своей отставке. Оставаться на воинской службе в войсках КГБ он категорически не хотел. А до перевода в Сибирь на эту секретную стройку отец будет участвовать в испытаниях первой атомной бомбы в местечке Жанасемей под Семипалатинском, о чем уже в конце жизни, пережив инсульт, расскажет сыну, и тот втайне запишет на двух листочках этот рассказ, в котором его больше всего поразит, как после взрыва атомной бомбы отец в числе других поедет к эпицентру взрыва, без всяких защитных средств. После тех испытаний отец начнет прибалывать, догадываясь о причинах своего недомогания, однако год спустя почувствует себя вполне здоровым.

В поселке не было молока, покупали его в соседней деревне. Иногда молоко приносила сама хозяйка, иногда за ним посылали его, третьеклассника. Хозяйка выходила ему навстречу, бережно держа обеими руками банку с молоком, а он почему-то краснел, особенно если за ее спиной появлялся ее сын, мальчик таких же, как он, лет. Она помогала перелить молоко в специальную флягу, которую он опускал в рюкзак за спиной.

До деревни он добирался на лыжах, сначала выезжал на новую бетонку, потом сворачивал направо — там, внизу, в логе, за ровными стволами высоких сосен, чернели полузанесенные снегом избы. Спуск к ним был крутой и долгий. Надо было осторожно скользить от сосны к сосне, чтобы, наконец, резко развернув лыжи и сильно оттолкнувшись палками, нырнуть вниз. Этот полет был как обморочное падение, но он ни разу не упал и, затормозив так, что из-под лыж

взлетало искристое крыло снега, в мгновение ока на глазах у деревенских мальчишек высвобождал ботинки из легкого металлического крепления. Такое крепление было у него одного.

Когда он возвращался, начинало темнеть, и к дому он подъезжал уже при свете уличных фонарей. Темноты он не любил, и после пустынной дороги, на которую из лесу быстро напоздали сумерки, отрадно и спокойно было скользить по знакомой улице, видеть освещенные окна и обрывающийся из труб дым. Потом он отогревался на кухне, не сняв свитера и теплых шерстяных носков, в плите потрескивали дрова, банка, в которую мать переливала молоко, сразу запотевала, а еда казалась особенно вкусной. Мама всегда расспрашивала его про ту женщину, и голос у нее становился виновато-озабоченным, словно она сама была в долгу.

Иногда по вечерам он оставался один — отец с матерью уходили в гости. На кухне становилось холодно, а в темной комнате, всегда прибранной и оттого неуютной, пугающе поблескивала тяжелая мебель... Он забирался с книгой на подоконник, ставил ноги на горячую батарею — так, подальше от пола, от темных щелей и провалов под мебелью, подобрав ноги, он чувствовал себя в безопасности. Но читалось плохо — он поневоле прислушивался к тишине.

Он был один, когда раздался звонок в дверь. Звонок был громкий и в то же время неуверенный; ясно, что звонил посторонний человек. Спрыгнув с подоконника, он на цыпочках подошел к двери и, справившись с волнением, громко спросил:

— Кто там?

— Молоко нужно? — раздался за дверью мальчишеский голос.

Это был голос хозяйкиного сына, которого он отчаянно стеснялся. Из-за сильного мороза в этот день Сережа в деревню не поехал. И вот тот мальчик пришел сам, хотя раньше не приходил. Наверно, его послала мать, чтобы покупатели не остались без молока. Но мысль, что сейчас придется открыть этому мальчику, и стоять перед ним, и брать у него из рук молоко, — эта мысль показалась непереносимой. К тому же ему не оставили денег — вот что. Как же он купит, если денег нет.

— Молоко нужно? — спросил мальчик из-за двери. И он растерянно и малодушно проговорил:

— Нет, не нужно... Никого нет дома.

— Не нужно? — переспросил мальчик.

— Нет, — оцепенело ответил он.

И мальчик ушел, а он вернулся в комнату и снова залез на подоконник, твердя себе, что вот и все, но чувствуя совсем иное — обжигающий стыд, от которого хотелось умереть. И потом разговор с матерью — как он мог так поступить?! И еще много-много лет он представлял себе этого мальчика, бредущего сквозь трескучий мороз обратно в деревню с банкой замерзшего молока.

Снова вечер... Они с отцом миновали последнюю улицу поселка, ее новые с темными окнами дома, ждущие жильцов, и скользят на лыжах вдоль опушки леса. Высоко в небе стоит луна — в ее свете различима не только лыжня, но даже их дыхание. Отец впереди, он идет мерным шагом, похлопывают задники лыж, выглаженный снег шуршит легко и уступчиво, обочь то и дело возникают черные силуэты елей, оставшись позади, они собираются в черную, молчаливо растущую толпу. Он догоняет отца, чтобы быть поближе, но он все равно как бы один, потому что за спиной никого, кроме той вырастающей толпы. Кажется, что она преследует его и холодом дышит ему в лопатки.

— Папа! — громко зовет он.

— Что, сынок? — Отец останавливается и, обернувшись, смотрит на него. В шапке с опущенными ушами, завязанными под подбородком, он кажется старше. Лицо его сурово и в странном контрасте с мягким, добрым голосом.

— Я дальше не пойду, ладно? — говорит сын, взглядываясь в это лицо. — Я пойду обратно, домой...

— Поезжай, — отвечает отец, и по его голосу нельзя понять, догадался он или нет, что сыну страшно. Сын поворачивает назад и что есть силы спешит по лыжне, стараясь пробежать как можно больше, пока отец смотрит ему вслед, пока он за его спиной. Наконец он оборачивается и видит, как за елками скрывается сутуловатая фигура отца. В его последнем, уловленном сыном движении чудится что-то такое, что сына охватывает раскаяние и желание вернуться. Но лыжня пуста, она мертво блестит под луной, и пройти по ней он не осмелится. Он бежит домой, думая об отце, о том, как тот идет один сквозь темный лес, мерно переставляя ноги и упираясь палками в рассыпающийся темно-синий снег.

Мать удивлена возвращением сына. Отогреваясь чаем, он ждет, что с минуты на минуту появится и отец, словно это каким-то образом оправдает его, но отца нет и нет. Он вернется только через час, лицо его будет красным, а брови и края меховой шапки обмечет инеем, отчего отец покажется еще старше и незнакомей, но он снимет шапку, оботрет лицо, станет шутить, примется за ужин, ни словом, ни движением не выказав своего отношения к бегству сына, — и сын так никогда и не узнает, что думал о нем отец в тот зимний лунный вечер.

...Пятого марта в старательную тишину урока, когда по доске шуршал, поскрипывая и осыпаясь, мел, из коридора ворвался топот, запахнулась дверь, и какой-то мальчик, распираемый сознанием собственной значимости, крикнул:

— Варвара Тимофеевна, Сталин умер!

Все повскакали с мест, а учительница, зажав глаза ладонью, молча и быстро вышла из класса. Третьеклассники остались одни, самая примерная девочка-отличница с передней парты уронила голову на руки, а другая девочка сморщила лицо и, оглядываясь на одноклассников, стала громко стучать крышкой от парты, как бы недовольная тем, что еще не заплакала. Он испуганно вскочил вместе со всеми и потом тоже уронил голову на руки, удивляясь своему равнодушию и понимая, что это плохо. Только двоичник Измашкин слонялся между партами, не скрывая, что ему скучно, но и не решаясь дать кому-нибудь подзатыльник.

Но когда про класс наконец вспомнили и всех собрали в холодном вестибюле школы, где было включено радио, и когда он увидел, как плачет их директриса, которую они все боялись, когда услышал знакомый с детства голос Левитана, горестно роняющий слова, и как будто осознал их смысл, он почувствовал, как горло его деревенеет и на глаза навертываются слезы. Он не вытирал их, и ему стало безразлично, смотрят на него или нет.

Занятий больше не было — всех распустили по домам. Странно было так рано возвращаться из школы и не испытывать при этом радости. Дверь открыла мама, ее лицо было бледным и заплаканным. «Как теперь будем жить, сынок?» — сказала она, и тут он впервые понял, что произошло что-то очень серьезное.

Сталин — это песни, которые он охотно пел, это портреты и стихи, это детсадовские еще рисунки — зубчатая стена (очень долго было рисовать бесконечные буквы «м»), островерхая, видимо, Спасская башня, к которой он неизменно пририсовывал высокое крыльцо. По крыльцу поднимался человек, по-хозяйски протягивая к двери руку. В другой руке он держал флаг. Все это было связано со Сталиным, и еще — трудное и не совсем понятное слово «Генералиссимус», и разноцветные ряды орденов, и внезапная фамилия Джугашвили, и победа, и то, что Сталин казался ему очень красивым.

В поселковом клубе завесили сцену вишневым бархатом, поставили перед ним портрет, и под траурную музыку спрятанного за занавесом духового военного оркестра люди несли к портрету, обвитому черно-красными лентами, еловые ветки и бумажные цветы.

Через несколько дней были похороны Сталина — отец в это время был в командировке в Москве, — и сын представлял с гордостью, как отец идет за гробом, поставленным на лафет пушки. Был хмурый день, во дворе громоздились горы сероватого снега, только в провалах следов

снег был по-прежнему бел и чист. В поселке были включены все громкоговорители. Он был во дворе, когда включили Красную площадь и кто-то, уже не Левитан, стал медленно и торжественно говорить под тяжелую красивую музыку. Съехав в очередной раз с горки, он вдруг почувствовал, что поступает нехорошо, и всем это видно из темных окон дома. Поэтому он встал возле своих санок и, пока длились похороны, стоял неподвижно, как по стойке «смирно». Еще он подумал, что надо снять шапку, но было холодно.

В эти дни заболела мама, и он был вынужден сам ходить в магазин и готовить еду, но все равно сидел впроголодь, и маме это почему-то было безразлично.

Отец вернулся в мае, когда по реке Томи уже прошел лед. Вода была холоднющая, но отец решил искупаться и поранил ногу о кусок колючей проволоки, которую кто-то бросил в реку. Лес в нежной зеленой дымке только что лопнувших почек был пронизан птичьими голосами. Маму отправили в Томск в больницу, и отец не ходил на службу. Он сказал, что обедов готовить не умеет, будут есть то, что заменяет любые обеды, и они вдвоем ели лук, выращенный на окне, держа его за упругие перья у самой золотистой головки и макавая в соль, закусывали черным хлебом и запивали холодным молоком. Было светло, солнечно и совсем не страшно, даже по вечерам, когда ветер приносил во двор ни с чем не сравнимый дух оттаявших пространств.

«Вспоминая пережитое в конце 1944 года в Венгрии, я отчетливо представляю себе только город Секешфехервар. Мы участвовали в тяжелых наступательных и оборонительных операциях. Там мы потеряли много минеров и в самом городе на площади перед Ратушей похоронили двух наших товарищей — офицера и солдата. Похоронили их торжественно; в церемонии, кроме нас, участвовали жители города, с которыми у нас установились добрые отношения. Многие венгерки плакали — женские сердца добрее и отзывчивее мужских... Возможно, я не могу забыть Секешфехервар и потому, что в нем я встречал новый, 1945 год, принесший нам долгожданную, выстраданную в тяжких боях и трудах победу.

За полчаса до его наступления я вспоминал прошлое — вечер 31 декабря 1940 года, когда я терзался, что в свои тридцать семь лет не имею ни семьи, ни детей; затем — встречу нового, 1942 года вместе с моей юной женой, когда мы надеялись, что остановка немцев под Москвой и Ленинградом означает их скорый разгром... Явственно вставал передо мной канун нового, 1943 года на переднем крае под Сталинградом, когда немецкий пропагандист орал из своего окопа, что на днях они вырвутся из окружения и затем одержат над нами неминуемую победу.

Вспомнил я встречу 1944 года в машине на зимней дороге по пути в батальон вместе с неожиданно подсевшей ко мне красавицей — майором медицинской службы, ехавшей к командующему армией Рокоссовскому. В эту последнюю военную новогоднюю ночь, куда бы я ни заходил, везде я видел веселые лица наших офицеров и солдат. Я пил с ними за нашу победу, которая — мы все это чувствовали — была уже близка.

Но здесь, в Секешфехерваре, в эти дни была исключительно напряженная обстановка. Город находился под непрерывным артиллерийским обстрелом, противник делал все новые и новые попытки перейти в наступление. Поэтому штаб нашей бригады располагался не здесь, а в другом населенном пункте, подальше от переднего края. Из расчета бригады в городе оставались только несколько батальонов и моя оперативная группа. Обстановка действовала угнетающе. Особенно страдали местные жители. Все они практически переселились в бомбоубежища и забегали в свои дома, где мы были расквартированы, только в короткие паузы между артобстрелами. Молодожены, в квартире которых я остановился, жаловались мне, как тяжело им жить в условиях фронтального города. «Если так будет продолжаться, мы не выдержим и умрем», — как-то сказали они. Я не придавал значения этим словам, и их зловещий смысл дошел до меня только тогда, когда я увидел, как жители выносили из бомбоубежища их трупы. Они приняли какой-то яд и ушли из жизни, обнимая друг друга.

Видел я, что нервничают и наши солдаты и офицеры. Люди уже чувствовали, что война кончается, и никому не хотелось погибать. Разъезжая по батальонам, которые обеспечивали

действия танковых и пехотных подразделений, я старался держаться подчеркнуто спокойно и уверенно. На передовой я впервые и услышал, что Секешфехервар будет, очевидно, сдан противнику. Поверить этому было трудно, но на всякий случай я стал готовиться и к такому развитию событий. Я подсказал командиру батальона Мишину установить на всех подходах к городу управляемые мины, что и было сделано небольшими отрядами минеров в сугубо секретной обстановке. Продолжая сомневаться в возможности нашего отступления, я тем не менее решил, если уж на то пойдёт, сделать так, чтобы оно надолго запомнилось гитлеровцам.

Отрядами минеров я руководил лично, заботясь в первую очередь о том, чтобы каждый из минеров после подрыва управляемых мин имел возможность благополучно добраться до своих. Со всеми минерами я прошёл этот путь и по карте, и на местности. Поправку мог внести только сам бой. Наши управляемые мины, представлявшие собой тяжёлые артиллерийские снаряды, выпрыгивающие из земли, должны были сработать эффективно, и я находил известное удовлетворение в том, что именно таким образом отмечу свое первое и, надо полагать, последнее отступление в этой войне. Я сам заминировал и две могилы наших минеров перед городской ратушей. Зная изуверские повадки немцев, я был уверен, что они не преминут уничтожить эти могилы, и хотел, чтобы они за это заплатились.

Между тем нервное напряжение жителей города, передавшееся некоторым нашим солдатам и офицерам, достигло предела. Слух об отходе уже ни для кого не был тайной. Но я не хотел, чтобы наше отступление было паническим, и отвечал своим подчиненным, что мы двинемся из города только тогда, когда я получу надлежащий приказ. Сам же я, закончив все намеченные работы, впервые в Секешфехерваре решил передохнуть.

По соседству со мной жила молодая венгерка, недавно потерявшая мужа. В тот вечер она зашла ко мне, залитая слезами, и призналась, что умирает от страха, когда думает о предстоящем бое. Я пригласил ее за стол, и мы вместе поужинали.

— Боя не будет, — успокаивал я ее. — Вы молоды и доживете до нашей победы, а мы скоро победим, очень скоро.

Эта венгерка, с которой я ухитрился объясняться по-венгерски, хотя язык давался мне с большим трудом, заглянула ко мне не случайно. Как-то я помог донести ей большой тюк, который она еле тащила на своих худеньких плечах. По-видимому, это ей запомнилось, и в трудную минуту она снова решила прибегнуть к моей помощи. За ужином она рассказывала о пережитых ею горестях и в конце концов попросила зачислить ее в Советскую Армию. При этом она все время вспоминала, какое это прекрасное дело — замужество.

Приказ о выезде из Секешфехервара было наконец получен. Передав его, сам я решил не торопиться и засел в горячую ванну. Только приняв ее и немного поостыв, я выехал вслед за нашими батальонами. Нагнал я их через несколько часов.

...В Секешфехерваре мне пришлось побывать еще раз после взятия его нашими войсками. Я снова жил в той же квартире, с грустью вспоминая ее молодых хозяев, так и не дождавшихся нашей победы, и в первый же вечер ко мне в гости пришла знакомая венгерка.

Все управляемые мины, установленные на въездах в город, сработали. Жители мне рассказывали, что там долго стояли поврежденные танки и автомашины. Я поспешил к могилам минеров перед Ратушей и был немало озадачен — немцы оставили все в целостности и сохранности. Мне трудно объяснить их беспощадное отношение к живым и их почти заботливое отношение к мертвым. С большими предосторожностями мне пришлось снимать с могил поставленные мною хитроумные мины-сюрпризы.

... В Будапешт я попал, когда в нем еще шли бои. Вместе с одним батальоном нашей бригады я проник в ту его часть, что расположена на высоком берегу Дуная, — ее захватывал 2-ой Украинский Фронт под командованием маршала Малиновского. Здесь, в там называемом Пеште, противник еще оказывал сопротивление, удерживая в своих руках отдельные дома и улицы.

Прибыли мы сюда вечером, чтобы помочь пехотному полку, который никак не мог завладеть одним из больших домов, откуда велся яростный огонь по перекрестку. В доме, как выяснилось, засели власовцы, и странно было слышать со стороны противника в десятке метров от себя, в сгущающейся тьме, переборы гитары и русские голоса. Они пели: «Очи черные, очи страстные»...

Посоветовавшись с командиром полка, мы решили взорвать этот дом. Следовало прорыть к нему тоннель под улицей из соседнего дома, чтобы поднести и заложить под его фундамент взрывчатку. Командир полка выделил в помощь минерам солдат-пехотинцев с лопатами, и началась бешеная работа. И тоннель, и подкоп были открыты за ночь, и к утру минеры уже закладывали под злополучный дом взрывчатку. Был конец февраля, утро выдалось солнечным, и на фоне ярко синего неба дом казался особенно мрачным, будто предчувствовал свою судьбу. Пехотный полк приготовился к атаке. Ровно в восемь ноль-ноль по моему приказу минеры произвели взрыв. Я наблюдал его вместе с командиром полка из какого-то немудреного укрытия.

Взрыв получился, что называется, классическим. Без большого шума солидное многоэтажное здание немного приподнялось над землей и затем рухнуло, превратившись в огромную гору кирпича, из которой торчали балки перекрытий, балконы и большие куски крыши. Под завесой дыма и кирпичной пыли пехота бросилась в атаку, но атаковать было некого. Власовцы, горланившие всю ночь, были погребены под этими развалинами. Их не то, что атаковать, даже разыскать оказалось невозможно. "Собакам - собачья смерть», - сказал командир полка, предоставляя своим бойцам кратковременный отдых. А я почему-то вспомнил, что так же вот когда-то было сказано о моем погибшем друге Саше Комиссарове и, может, впервые задумался над смыслом этого выражения.

В Буде, части города, расположенной на противоположном, западном берегу Дуная, я оказался в самый момент взятия ее нашими войсками. Я спешил, чтобы обеспечить разминирование королевских резиденций. Переехали мы туда по одному из уцелевших мостов. Улицы были полны наших солдат и мирных жителей — они убирали трупы и оказывали помощь раненым. У некоторых жителей на руках были повязки с надписью Arzt (врач — нем.).

На какой-то небольшой площади мое внимание привлек один из таких врачей. Он бегал от одного нашего солдата к другому, хватал их за руки и что-то страстно говорил, трясая головой. Солдаты отмахивались от него, сгрудившись у канистры, из которой один из них разливал по кружкам и котелкам спирт. Завидев меня, врач бросился навстречу. Из его венгерских и немецких слов я понял, что в канистре метиловый спирт, и каждый, хлебнувший его, непременно умрет. Поверив венгру, я с бешенством набросился на раздатчика.

— Прекрати, дурак, свою раздачу! — закричал я на него и отнял канистру. В поднявшемся гвалте толпы я вылил ее содержимое на землю и начал руками и ногами выбивать котелки и кружки со спиртом из рук солдат.

Потом мне говорили, что я рисковал жизнью, — меня запросто могли прихлопнуть вооруженные любители спиртного. Сам я, естественно, в тот момент об этом не думал, хотя помню искаженные недовольством лица.

В тот же день врач санчасти бригады показал мне рюмку метилового спирта, который ни по запаху, ни по вкусу не отличался от обычного. Показал он мне и трех минеров, успевших отведать его. Они лежали в палате с красными лицами — участь их была предрешена. Из-за этого спирта мы похоронили в Буде несколько минеров. Еще большие потери были среди солдат артиллерийских и пехотных частей. По-видимому, метилового спирта тут была не одна канистра — отступающий противник подбросил его специально, хорошо зная слабость нашего брата.

... Тщательное обследование дворцов в Буде показало, что и здесь противник, вопреки моему ожиданию, не поставил ни одной мины замедленного действия. Минеры одного из батальонов бригады в знак своей признательности передали мне через ординарца в качестве трофея громадную шкуру белого медведя с красиво отделанной головой и когтистыми лапами. Эту шкуру таскать с собой было, как говорится, "не сподручно», и вскоре я подарил ее одному инженеру-строителю из Будафока, дачного пригорода Будапешта, у которого я как раз остановился. Шкура эта настолько потрясла жену инженера, что она начисто забыла огорчения, связанные с мелкими

кражами, которые до моего прибытия совершили у нее наши солдаты. В домике было тепло, уютно, особенно по вечерам, когда мы сидели и беседовали у переносных изящных печек, которые приставлялись к отросткам труб, выходящим из стен комнат. Было это в начале марта, и на дворе еще подмораживало.

Надо думать, что и сейчас этот инженер гордится подарком. Такие шкуры мог иметь только король и мне приятно вспоминать, что один раз в жизни я сделал королевский подарок.

На самой границе с Австрией я столкнулся с только что взятой после упорного боя в плен венгерской частью. Пленные шли не толпой, а строем, над охраной наших конвоиров. Шли они очень медленно, ибо, судя по их бледным лицам и неверной походке, бесконечно устали. Они часто останавливались передохнуть, хотя и стремились поскорее уйти подальше от места боевых действий. Среди них было много раненых, перевязанных крайне неряшливо, на скорую руку. Колонна пленных проходила через населенный пункт, жители которого, судя по всему, относились с большим состраданием к своим землякам, но боялись его проявлять.

Когда эта внушительная колонна остановилась, я, выйдя из машины, почему-то выделил среди пленных молодого высокого венгерского солдата. Голова его была перевязана грязным бинтом, сквозь который просачивалась кровь, его большие, немного навывкате глаза были полны невероятного страдания. Я не выдержал этого взгляда. В машине у меня сидела медсестра, которую мы подхватили по дороге, сжалившись над ней, бредущей с огромной медицинской сумкой. Я попросил ее сделать перевязку пленному.

Молоденькая медсестра мгновенно извлекла из сумки все, что требовалось, и перевязала раненого столь быстро и умело, что он стал чуть ли не красавцем, и у него как будто даже уменьшилось страдание в глазах. Он поблагодарил ее, поцеловав ей обе руки, то же самое сделал и подошедший венгерский офицер. Затем он повернулся ко мне и повел на немецком языке совершенно неожиданную для меня речь:

— У меня в кармане золотые часы, которые мне вручил сам Гитлер на одном официальном приеме. Часы с его факсимиле на крышке. Полагаю, что рано или поздно у меня их отберут. Я взволнован вашим милосердием к венгерскому солдату и хочу подарить вам эти часы в память о бывшем враге. — Он сделал ударение на слове "бывшем».

Я ответил пленному офицеру, что сомневаюсь в том, что у него отберут часы, и посоветовал оставить их при себе, если ему дорог подарок Гитлера.

— *Hitler kaput!* - сказал пленный и чуть ли не насильно сунул мне в руку карманные золотые часы.

Увидев, как жадно курит мой собеседник предложенную сигарету, я отдал ему несколько пачек...

Часы у меня не сохранились. Как-то в Москве после войны в метро девушка спросила у меня о времени - я вынул часы из специального кармана брюк и, ответив, опустил их обратно. Больше я их не видел. Они исчезли. Может быть, я сунул их мимо кармана, а, может, их украли. Украл тот, кто действовал вкупе с девушкой, пожелавшей узнать у меня время».

В школе отец бывал редко. Может быть, поэтому каждый его приход остался в памяти сына. Вот одно из родительских собраний, Сережа уже шестиклассник, они живут в Ленинграде, он носит школьную форму, его остро волнуют сверстницы, и тайком он прочесывает домашнюю библиотеку в поисках туманящих разум сцен из Гюго, Золя и Мопассана, дабы самому испытать нечто такое, что находится в закономерной, но запретной связи с прочитанным, как точка или многоточие, завершающее долгий, вибрирующий смысловой период.

Собрание это даже не родительское, а с ребятами. В класс один за другим входят чьи-то отцы и матери, шестиклассники стыдливо оживлены, а родители в первые мгновения не знают, куда

себя деть, деланно уступают друг другу место, у них невозможно скучные взрослые лица, и трудно понять, как это у таких разных и интересных ребят такие одинаково неинтересные родители. Он еще не знает, что люди не на своем месте всегда неинтересны. Не знает и того, что через много лет будет считать взрослых тоже детьми, беспомощными перед жизнью. Когда-то и он станет взрослым, станет отцом и, поджидая в школе после уроков дочь, будет остро впитывать в себя знакомый дух школы, узнавать себя в мальчишке, звонким галопом несущемся по коридору с перекосившимся ранцем за спиной — по сути, только ноша на плечах стала другой... Хотя, видимо, ему следовало бы знать что-то еще, или, по крайней мере, его дочь должна быть уверена, что он знает что-то большее.

...Отец его тоже сегодня придет. Вот в коридоре раздается знакомое покашливание, дверь открывается, и — в военной форме, с колодками наград — входит он. Класс, грохоча крышками парт, встает в едином порыве, и сын тоже встает вместе со всеми, только мгновением позже осозная, что это они встречают его отца. И сына, как еще не раз впоследствии, пронзит чувство принадлежности отца не только ему, маме, но и другим людям, и не только людям, но еще — времени. Он хочет подойти к отцу, взять за руку, чтобы убедиться в сыновнем праве на него, но не смеет, словно до отца сейчас ему не дотянуться.

Однажды в том далеком сибирском поселке, из которого они уехали, как уезжали отовсюду, к чему он привыкал и что начинал любить, они с отцом чуть не натолкнулись на улице на батальон курсантов училища, где отец был заместителем командира по учебной части. Батальон — целые три роты — вывернул из переулка, и отец ускорил шаг и все оглядывался: догонят или нет. Сын поспешал следом и никак не мог взять в толк, почему надо сторониться этих трех стройных колонн, чей уверенный, дробно литой шаг отдавался в его душе восторгом, пока отец не сказал:

— Если они меня догонят, то будут обязаны приветствовать.

И сын пожалел тогда, что на улице на виду у всех не раздастся знакомый зычный рык:

— Здра... жела... тащ полковник!

В шестом классе с ним случилось происшествие — не из тех, при воспоминании о которых в последующие годы охватывает стыд и ничем от него не защититься, но все равно так и не забытое, хотя память о нем вызывала разве что печаль. А ведь ничего бы не было, если бы после уроков он не заскочил в свой класс.

В классе было несколько мальчишек и девчонок. Мальчишки возились у шкафа. Шкаф этот был обычно заперт на ключ и никого не интересовал, но сейчас одна его дверца была приоткрыта на ширину ладони, и в эту запретную щель мальчишки Коля Изволоков, Володя Бесстужин и Петька Федоров поочередно запускали руку, вытаскивая оттуда какие-то продолговатые коробочки. Девчонки стояли в стороне, группкой и поглядывали на мальчишек не то с осуждением, не то поощрительно — раздавались девчачьи смешки, лица выражали и любопытство, и страх, и еще много всякого девчоночьего. Когда он вошел, они посмотрели на него двусмысленно: что он будет делать — как-никак он был председателем совета отряда.

«Подумаешь...» — ответил он глазами, подошел небрежно к шкафу и, не глядя на расступившихся мальчишек, просунул в щель руку. В руке его оказалась коробочка с диапозитивами. Они были цветными и в красивых голубых, синих, белых, зеленых красках изображали фауну Северного Ледовитого океана. Положить бы их обратно, но что-то было тайное, приятное, томящее в том, как они ему достались, — что-то похожее на запретные, вычитанные во взрослых книгах строки — сладость греха в кончиках ноющих пальцев.

На глазах у девчонок он с самым независимым видом пронес эту коробку с диапозитивами через весь класс и положил в сумку. В углу класса мальчишки торопливо распахивали по портфелям свои трофеи.

Вечером к нему прибежал Володька Бесстужин — он жил в соседнем подъезде:

— Ты сколько взял? — зашептал он, моргая белесыми ресницами.

— Одну.

— Дурак, надо было больше. У меня знаешь сколько? Целых пять коробок. Африка, Америка, индейцы!

— Что с ними делать-то?

— Во дурак! — это было любимое Володькино слово. — Диапроектор сделаем, показывать на стене будем. Линза у меня есть, лампа в патроне есть, ящик возьмем — и кино! По двадцать копеек за сеанс!

Мысль о собственном домашнем кино в то бестелевизионное время была заманчива.

На следующий день они набрали еще коробок с диапозитивами, и только теперь он понял, что это ведь воровство. Ему было уже совестно владеть этим богатством, да и само количество диапозитивов почему-то уничтожало тайну, окружавшую их. Правда, ящик диапроектора был сделан, но линза оказалась неподходящей, и вместо яркой картины на стене получилось мутное пятно.

— Не тот фокус... — вздыхал Володька, — завтра поищем, нет ли в шкафу подходящей линзы.

Тут первый раз недоброе предчувствие пробудилось в нем.

— Давай лучше положим на место.

— Ну ты даешь! Клади, если боишься.

— Я не боюсь.

— Боишься, вижу, что боишься. Слабак. Они поссорились.

Наутро он принес в класс три свои коробки. На перемене, улучив момент, когда дежурная вышла в коридор, он подошел к шкафу и потянул за висящую петельку дверцы. Внутри у него похолодело. Шкаф был закрыт. Самый факт того, что шкаф закрыт, означал, что пропажа обнаружена. И диапозитивы показались ему в тот момент свинцово тяжелы. Но когда после пятого урока в коридоре к нему подбежала дежурная по классу и сказала, что его вызывают к директору, он начисто забыл про эти диапозитивы, хотя они лежали у него в портфеле, и подумал о другом — что ему как председателю совета отряда дадут какое-то поручение.

Директором школы была седая женщина с внешностью актрисы. Говорили, что в блокаду она оставалась в городе и в школьном подвале, где теперь у них гардероб, занималась с детьми. Прежде она преподавала историю, но теперь занятий уже не вела. Только старшеклассники хранили память о ее суровых отметках. В директорском кабинете было много растений в кадках и горшках. Анна Павловна его в лицо не знала — он первый год учился в Ленинграде, — но посмотрела на него так, что, еще не услышав от нее ни одного слова, он все понял. Тем более что рядом с ней стояла взволнованная классная руководительница Елена Степановна. Лицо ее было в красных пятнах.

— Ну, Кустов, расскажи нам, как ты взял, — Анна Павловна помедлила, — как ты украл, — голос ее наполнился презрением, — то, что принадлежит школе?

Рассказывать было нечего,

Вчера к директору явились родители Кости Изволокова и принесли диапозитивы. Как всегда в таких случаях, стали выяснять, кто инициатор. Изволоков назвал Кустова. Может, он назвал его, думая, что председателю совета отряда попадет меньше всех, а может, из злорадства, потому что сам был круглым троечником. Так или иначе, но Кустов превратился в зачинщика, и взрослые этому поверили. Отпираться он не стал.

— Кто еще занимался с тобой этим грязным делом? — спросила Анна Павловна тихо и страшно.

— Говори правду, Кустов, — срывался высокий, словно ей было трудно дышать, голос Елены Степановны.

«Ну, чего спрашивать, — думал он, — когда и так все знают».

— Это у него называется «чувство товарищества», — усмехнулась Анна Павловна и глянула на Елену Степановну, как бы приглашая полюбоваться.

Они разговаривали с ним как с последним человеком, и в душе его это никак не соединилось с уважительной тишиной класса во время его ответов на уроке. Словно настоящий он остался за директорской дверью, а сюда вошел кто-то другой.

— Наверно, двоечник, учится кое-как? — брезгливо спросила Анна Павловна. Она даже не обратила внимания на две нашивки у него на рукаве.

— Да нет, Анна Павловна, вы понимаете, никогда бы не подумала, в том-то и дело, что учится... учится он хорошо, вторую четверть на одни пятерки... Председатель отряда... Да и родители... Отец военный.

— Вот отца и надо вызвать. Напишите-ка ему записку. А ты, — повысила она голос, так что он поднял глаза, — ты сегодня же записку передашь. И чтоб завтра утром вместо уроков с отцом ко мне пришел.

В раздевалке он столкнулся с Изволоковым и Федоровым. Радостно сцепившись, они мутузили друг друга портфелями. Изволоков, пропустив свой черед, глянул бездумно на Кустова, и тень замешательства прошла у него в глазах, но тут же он получил портфелем по шее и, издав воинственный клич, бросился в атаку. Бесстужина с ними не было.

Отец еще не вернулся с работы, и записку прочла мать. И опять его поразило, как изменилась она с лица. Она даже опустила на стул, словно ноги не держали.

— Ну, рассказывай... Все как есть... Ничего не скрывая.

Он рассказал.

— Спасибо, сынок, — почти так же страшно, как директор, сказала она. — Хорошо ты отблагодарил нас. Не думала, что стану матерью вора.

Он молчал.

— Отец, отец... — сжавши виски, снова заговорила она. — Как я ему скажу? Украсть... из школы... диапозитивы. — Тут мать подняла голову и как бы вспомнила о нем. — Ты что, не мог у нас попросить? Разве мы хоть в чем-нибудь тебе отказывали?

Он некстати подумал, что отказывали и не раз. Но не в этом дело — укоризны не доходили до его сознания. В нем самом его проступок так и оставался маленьким, незначительным, и угнетало его не то, что он совершил, а то, что и как об этом теперь говорили.

— Где они у тебя? Неси сюда. Немедленно!

Он побежал к своей тумбочке. Но она была пуста. Тут он вспомнил, что диапозитивы в портфеле, с которым он стоял перед директором...

Отец пришел в хорошем настроении. Таким он всегда возвращался со службы в ту пору.

— Ну, как дела, сынок? — И наклонился, чтобы поцеловать в голову.

Это было слишком — сын бросился из коридора в комнату.

— Юра, пройди на кухню, — попросила мать, становясь на пороге комнаты.

— Что произошло? — нахмурился отец.

— Я тебя прошу: пройди со мной на кухню, — отчетливо повторила мать.

Он не слышал их разговора. Сидел за столом перед раскрытым учебником, и его трясло. Из кухни вернулась одна мать. Лицо ее было бледным и решительным.

— Отец видеть тебя не может... В школу пойду я. А сейчас сходи куда-нибудь, пока он... да... Сейчас! Дай отцу прийти в себя.

Она вывела его в коридор, открыла входную дверь и сунула ему пальто, шапку, шарф...

Пока бежал по ступенькам вниз, он чувствовал только одно — страх за отца. Что с ним? Ему плохо? Он оглянулся на мать, но она уже скрылась за дверью.

Он выскочил на мороз и зашагал по тротуару. Смеркалось, люди спешили с работы. То и дело хлопала дверь булочной — за ней в желтом свете стояла черная очередь. Он подумал, что, если будет замерзать, пойдет туда. Больше некуда. К Бесстужину он не пойдет.

Через два часа он позвонил в дверь. Открыла мать.

Он долго возился возле вешалки. Наконец, собравшись с духом, отворил дверь в комнату и наткнулся на невидящий взгляд отца. Подойти к нему, извиниться было невозможно...

Когда он с матерью вошел в кабинет директора, Анна Павловна встала из-за стола и затрясла головой:

— Нет-нет, с мамашей я разговаривать не буду! Я просила, простите, как вас зовут? Людмила Сергеевна? Я просила, Людмила Сергеевна, чтобы пришел отец. Я слишком хорошо знаю мам.

— Муж... отец... — сказала мать, борясь с комом в горле, — Юрий Васильевич... прийти не может... Он больной человек, у него гипертония... Я... — Мать больше не могла говорить.

— Людмила Сергеевна, сядьте, успокойтесь. И все-таки я настаиваю... Вы понимаете, что ваш сын совершил преступление? Кражу. Что с ним теперь делать? Отправить в колонию для несовершеннолетних преступников?

— Отправляйте, — раздался звенящий голос матери. — Вы напрасно думаете, что я собираюсь его защищать. Раз мой сын оказался вором, пусть понесет наказание. Колония? Хорошо — отправляйте в колонию. Отправляйте в тюрьму. Это мое мнение и моего мужа.

Дверь открылась, и в кабинет боком проскользнул Володька Бесстужин. Он весь прямо светился.

— Вот еще, Анна Павловна, — и выложил на директорский стол коробки с диапозитивами. — Это он мне дал.

...Потом мать рассказывала отцу об их визите к директору: «Видит, вошла дамочка в духах, в мехах. «С вами говорить я не стану. Пришлите отца!» — и никаких. «Ну почему, Анна Павловна, — говорю я ей. — Я мать, я тоже несу ответственность за своего сына. Если он совершил преступление, наказывайте его. В колонию — так в колонию, в тюрьму — так в тюрьму». Гляжу — она глаза широко открыла. Думала, я, как другие, брошусь защищать свое дорогое чадо. А я принципиально. «Пожалуйста, — говорю, — в тюрьму — так в тюрьму. И мой муж так считает».

Из Сибири он приехал с вольной шевелюрой, и хотя, по тогдашним строгим ленинградским правилам, надо было не только носить школьную форму, но до седьмого класса стричься под нулевку, для него в школе сделали исключение. На следующий день после разговора с директором он явился в класс наголо остриженным, и одноклассники окончательно уверовали, что его собираются отправить в тюрьму — обходили его стороной и рассматривали издали с

безжалостным любопытством. Володька, Петька и Колька не только не были наказаны, но считались даже как бы пострадавшими.

Был пионерский сбор всей школы. Классы выстроили в длинном коридоре. После команды «смирно!» ему приказали выйти на два шага из строя, он вышел и повернулся лицом ко всем. Старшая пионервожатая огласила приказ номер тридцать один. Он еще подумал, почему такая большая цифра, когда наказывают его единственного. Он не слышал, что было в том приказе, только вдруг откуда-то сбоку вынырнула с ножницами старшеклассница из совета дружины и спорола с левого его рукава две красные нашивки. Галстук с него снимать не стали, оставив в пионерах, как потом объяснили, на исправительный срок.

После этого стало трудно учиться. Он старался изо всех сил, но его ответы, еще более четкие и полные, больше не удовлетворяли учителей — и в его дневнике замелькали тройки. Мать стала поговаривать о том, чтобы перевести его в другую школу. Но все это была чепуха по сравнению с тем, что на эти несколько месяцев отец словно перестал его замечать. Он даже не здоровался, будто вместо сына видел пустое место. Так и запомнилось то время — молчанием отца.

Потом был разговор — в присутствии не проронившего ни слова отца. Мать раскрывала всю глубину его падения, весь стыд и позор, обрушившийся на семью, призывала его к осознанию проступка, просила покаяться в том, что больше никогда в жизни ничего, что не принадлежит ему, он не посмеет взять и присвоить. Он все это понимал, разговор был лишним, он молча слушал, глядя в пол и кивая головой, и специально для них, чтобы видели, как ему тяжело, стискивал зубы, чувствуя, как ходят желваки.

— Я думаю, этот разговор он запомнит на всю жизнь,— говорила вечером отцу мать.— Как он мучился...

Он и запомнил его навсегда — но только в той раздвоенности самого себя, когда видишь все со стороны и знаешь, что должно, а что не должно делать. Он как бы отдавал дань взрослым, которые думают, что раскаяние и просветление должны наступить в тот самый момент, когда этого ждут от тебя.

Мать любила вспоминать этот случай, но еще больше слова директора в том же кабинете через два года, когда действительно пришлось сменить школу.

— Спасибо, Людмила Сергеевна, — сказала тогда директор, — спасибо за прекрасного сына, которого вы вырастили и воспитали. Спасибо от себя и от имени всего нашего коллектива. Я верю в него.

Анна Павловна умерла много лет назад и не могла убедиться, оправдались ли ее ожидания или нет.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

— Сегодня целый вечер звонят, — сказала мать. — Помощь предлагают, Я пока отказываюсь. По-моему, мы сами прекрасно справляемся... — В ее голосе прозвучал вопрос.

— Конечно... — пожал плечами сын. — А кто звонил?

— Многие... — не стала она уточнять. — Я отвечаю: «Когда отцу станет лучше, тогда — пожалуйста». А в этот ответственный момент... Что-то не нравится мне его вид. Он просыпался?

— Нет.

— И ты его не кормил?

— Как же я мог кормить, если он не просыпался...

— Ну, надо было хотя бы дать ему попить. Ему надо пить.

Опять между ними возникало ревнивое соперничество. Мать приподняла одеяло:

— Ты его не переворачивал? Врач сказала, обязательно переворачивать, чтобы легкие не отекали, а то может начаться воспаление. Какая у него температура?

— Тридцать семь и семь.

— Наверное, воспаление... — Мать покачала головой. — Я спрашивала сегодня, врач отвечает неопределенно. Не пойму, что за врач такая... И ты, сын, недостаточно внимателен... Я говорила тебе: «Переверни отца». Ну ладно, а то опять поссоримся. Ни к чему это. Нам с тобой нужны силы. Давай... помоги мне... — Мать присела, просунув свои руки отцу под спину.

— Да подожди! Что ты?! Я сам!

— Давай, давай... я уж...

— Не надо, мама, я сам.

Он нагнулся и с огромным трудом, так что черные мошки поплыли перед глазами, приподнял отца:

— Ох, какой тяжелый.

— Это ты ослабел, сын. Давай... вот так... сюда подушку.

Мать быстро скрутила два валика из принесенных полотенец и подоткнула отцу под спину, чтобы поддержать его в новом положении.

Мать делала все быстро и точно, как бы чуть отталкивая сына.

Сергею эти хлопоты казались лишними, почти лишеными смысла, но он дал себе слово не перечить.

— Будут звонить, — сказала мать, — говори, что пока ничего не нужно. Нет у меня ни сил, ни желаний кого-либо видеть.

... Уже в первом часу ночи позвонила одна из его студенток и жалобно пропела:

— Сергей Юрьевич, как моя курсовая? Мы с вами завтра не встретимся?

Почти со всеми своими студентками он совершал одну и ту же ошибку — устанавливал расстояние короче, чем следовало, — и эти юные создания вместо того, чтобы шевелить мозгами, начинали его охмурять, нутром своим чувствуя его слабость. Когда-то профессор Раздолгин, его учитель, говорил, что после сорока мужчине начинают нравиться все юные девы без разбора. С его учеником это случилось несколько раньше... Но все это происходило на уровне первой сигнальной системы — инстинкт стареющих клеток, потому что на самом деле не было ничего тоскливее и канительнее, чем... Эта вот тоже набивалась на встречу, на консультацию на дому в неофициальной, так сказать, обстановке... А тема будь здоров — «Соотношение формальной и неформальной структур в первичном трудовом коллективе». Похоже, социология только и годится, чтобы подводить статистическую базу под наши недостатки. А положительный опыт не программируется. Человек живет между рациональным и мистическим: строит, разрушает...

А ведь в молодости — сколько ему было? лет семнадцать? — тогда он был уверен, что стоит написать письмо в газету со всеми выкладками — и все разъяснится... Где-то ведь у него еще валяется проект переустройства человечества. И тогда же — это навязчивое намерение утратить свою невинность, не мальчика, а мужчины. Первая девушка, которую он поцеловал, и самый поцелуй, ошеломивший его своей прозаичностью, большие обнаженные груди в полном сумраке двора и нелепая мысль — что же с ними делать, тяжелыми и холодными от ночного воздуха... Танцевальная площадка, движения той, кого он пригласил на танец, горячая ее ладонь, ложбинка гибкой спины, чуть влажной под кофтой, и при послушности тела — отрешенное, в

сторону глядящее лицо. Сколько еще ему спотыкаться об эту женскую отрешенность, не понимать ее двойственной игровой природы, доискиваться ясности отношений, будто от этого они не лишаются смысла... Завиток светлых волос щекочет ему висок. Скосив глаза, он видит ухо, щеку, близкую, веющую теплом. Почему вдруг эта далекая чужая девушка так близка? Почему так обжигают мимолетные прикосновения к ее груди, бедрам? Откуда столько тяги к чужому, другому? Откуда чувство, что чужое это и есть твое?

Один из знаменитых литературных стариков утверждает, что времени нет. Бедняга. Только время и есть, только и есть, что кругооборот часов, дней, восходов и закатов, зим и осеней. Время — вот что надо уважать. Быть его секундной — лучше всего секундной! — стрелкой: не теряя ни мига, как бы идти вперед, ступая по своим же собственным следам, только с прибавляющимся от круга к кругу слоем памяти. Вот почему скучно ему рядом с молодостью — видеть ее непрозревшие глаза, в которых та же, что и у него, мистическая воля к жизни, только на первом, не имеющем памяти, витке.

Вроде бы подружки его молодости были другими — больше пели, больше сидели у костров да и влюблялись надрывней. Вот-вот — не дай бог так думать. Вот где начинается старость... У отца этого так и не наступило... Не забывать об отце...

— Наташа, — сказал он, — приходите завтра на кафедру. Выкрою как-нибудь полчаса.

— Я слышала, у вас папа тяжело болен, — маялась на том конце провода прелестная, высоконогая, но не нужная ему Наташа. Да и он ей не нужен — она сама это поймет, как только защитится. Она в той поре, когда ищут своего рыцаря. Он не рыцарь. — Может быть, я чем-то могу вам помочь?

— Все в порядке, Наташа, — сказал он. — Спасибо. Так, значит, на кафедре, в тринадцать ноль-ноль. До свидания.

— Спокойной ночи, — печально прозвенел в трубке Наташин голосок. Потом раздались частые гудки, и он вдруг почувствовал, что поговорил бы с ней еще.

На то, чтобы стать завсектором, у него ушло семь лет... Такое несправедливое чувство, что ты работаешь лучше других, делаешь больше, стало быть, и заслуживаешь большего. В конце концов заметили, хотя теперь бы он не поручился, что это была честная игра. Звезд с неба он, кажется, никогда не хватал. Да, он неплохой систематизатор, способен пережить чужую мысль, как свою, может ее развить, продолжить, отшлифовать и ограничить до блеска. Но...

Заметили, потому что был приветлив, лицо открытое, правильно выступал на собраниях, на ученых советах. Тоже без откровений, да там этого и не требовалось. Умел казаться искренним. Не выступал, а именно говорил — да так, будто сейчас для него нет ничего ближе затронутой темы. Это темперамент, не больше. Что ж, ему повезло родиться с таким темпераментом. Вот и порешили, что пусть наконец сектор возглавит человек молодой, искренний и увлеченный. Связывали с этим определенные надежды, удачно совпавшие с каким-то постановлением. Да, так это начиналось, и он действительно был увлечен, хотя уже не думал, как в двадцать лет, что вместе с его вошедшим в силу поколением моральный кодекс станет нормой общественного самосознания. Да и где его поколение? В общем-то, у него даже конкурентов не было, дорога была чиста, ни справа, ни слева не маячило соперников. Неродившееся поколение войны... В школе, где бы он ни учился, их класс был единственным — «а», «б», «в» были до и после. Очевидно, отсюда его изначальная слабость, победы ему присуждались за неявкой соперника. Но, черт побери, пока он это понял, был пройден довольно долгий путь. И он старался. Он старался быть лучше тех, кто был до него. Он так остро, так явно видел их недостатки. Он тогда и не задумывался над тем, что чувство нового само по себе нейтрально по отношению к этике, коей и определяется качество жизни, жизни как переживания времени. Он думал, что старое безнравственно уже потому, что сопротивляется новому. Он долго считал, что всё, существовавшее до него, было менее прозорливым, все в чем-то так или иначе заблуждалось, и привычно было думать, что подлинная жизнь началась с его поколения. От иллюзии этой исключительности перед лицом того, что было и прошло, он только что начал избавляться.

Коллектив после его утверждения на посту зава вроде бы воспрянул. Молодые подняли голову, пожилые или приняли его, или затаились. Молодых вскоре стало больше. На них он и опирался. Лет пять все шло вроде бы ничего. Тех, кто быстрее и охотней подхватывал его идеи, он перевел из младших в старшие научные сотрудники, довел до ума несколько кандидатских диссертаций, помог их защитить. Сложился круг единомышленников, «мозговой центр» местного значения. Все-таки немало провернули они за эти годы. Даже чувство такое было — можем все. С помощью опросов, тестов, контент-анализа, этих бесстрастных инструментов истины, они собирались поставить диагноз настоящему, вышелушить его подлинный, а не декларируемый дух. Они препарировали социум с дотошностью патологоанатомов, полагая, что, расчленив материю человеческих взаимоотношений, доберутся пинцетом до скрученного нервика первопричины поступка. Было и такое время...

То, что объединяет людей, что дает им осознание своей многократно выросшей силы, требует не только точки приложения, но и выхода. Дал ли он им этот выход? Он старался, пыхтел, отстаивал. Бился, где надо и не надо. Может быть, время не дало? Изменилась конъюнктура, изменились заказы и темы. Да и сам он хотел бы заняться теперь чем-нибудь другим.

Что-то с ним происходит последнее время — как бы запоздалая переоценка ценностей. Он вдруг открыл, что он никто — нечто, не выходящее за пределы стандарта. Обычный служащий с гуманитарным уклоном. Все мы, думает он, приходим в этот мир с собственным проектом. А потом всю жизнь вносим в этот проект поправки, пока он не изменится настолько, что уже перестает принадлежать нам. Все мы рано или поздно сливаемся в едином потоке, цель и направление которого нам не вполне ясны, — вдохновляет разве что стихия самого движения да сознание, что нас много. Жизнь слишком коротка, чтобы распознать ее цель и смысл, и наши представления о цели и смысле слишком прагматичны, чтобы принадлежать истине. Хватило бы времени понять, что истина и личная выгода — это, как говорится, две большие разницы.

«В конце марта — в первых числах апреля 1945 года бои начались в самой Вене. В этих уличных боях части нашей бригады играли если не решающую, то значительную роль. Отбив тот или иной дом, мы сразу проверяли, есть ли в нем мины, а к вечеру строили на улицах баррикады, чтобы воспрепятствовать ночным контратакам противника. Баррикады возводились из всего, что попадется под руку, — из разбитых автомашин и мотоциклов, трамваев, строительных материалов. Перед ними мы устанавливали противотанковые и противопехотные минные поля, как правило, управляемые. Именно они и оказались в Вене наиболее эффективными, и, представляя к наградам минеров, я с благодарностью вспоминал 1-ю гвардейскую бригаду, где родилось многое из того, что мы применяли здесь.

И все-таки в Вене мы потеряли немало наших бойцов... В том числе замечательного минера-китайца, фамилию которого по причине ее чуждости русскому языку я, к сожалению, забыл. Этот китаец был родом из Синь-Дзяна, и не помню, какими судьбами оказался в нашей бригаде. Я ему симпатизировал за его удивительную скромность, постоянную готовность прийти на помощь и за такую же храбрость, какую я наблюдал у китайцев, бившихся еще в составе Чапаевской дивизии в годы гражданской войны. Он выполнял самые сложные боевые задания и совершенно пренебрегал опасностью. Узнав о его гибели, я крепко горевал и сделал все возможное, чтобы похоронить его с почестями. Он был похоронен напротив известного в Вене ресторана «Бристоль» вместе с советским офицером из пехотного полка. Впоследствии эти захоронения перенесли на кладбище. Думаю, отыскать их можно. До сих пор мечтаю поехать в Вену и там поклониться праху этого героя-минера.

В одном из боев за улицу, на которой он и был вскоре похоронен, во время ураганного артиллерийского огня противника я с несколькими офицерами заскочил в парадный подъезд многоэтажного дома. Подъезд хоть и выходил во двор, но был действительно парадный — его украшали великолепные белокаменные колонны. День стоял солнечный, в небе медленно плыли облака. По двору бегал австрийский мальчик лет десяти. Вдруг в этом дворе, замкнутом со всех сторон, провыл снаряд и после мгновенной зловещей паузы взорвался. С визгом и шипением брызнули осколки, не задев никого из нас, но пробежавший мальчик как бы споткнулся, упал и

остался лежать у моих ног. Ни следов осколков, ни крови на нем не было. Я взял его на руки, внес в вестибюль и, положив еще теплого, розовощекого, на какое-то возвышение, попытался снять с него легкое серенькое пальтишко. Лоб мальчика стала быстро покрывать мертвенная бледность, она дошла до кончика носа, обострила его и, охватив губы и подбородок, превратила лицо ребенка в лицо мертвеца.

Откуда-то прибежала мать мальчика и унесла его, посмотрев на меня строгими глазами. Мне показалось, она не застонала, не заплакала, потому что знала, кто виноват в смерти ее сына. В то время как в боях на улицах Вены мы почти не применяли артиллерию, шадя город, немцы и австрийцы вели безжалостный артобстрел улиц, домов. Не исключено, что мальчик погиб от снаряда, выпущенного его отцом или братом, подумал я».

Очевидно, был такой момент, когда отец обнаружил, что его сын — хлюпик и маменькин сынок. А может, он думал так всегда, пока не решил, что с этим надо кончать. Вообще он сына не знал, как не знают отцы, не посвятившие себя ребенку в его первые годы. Три первых месяца рядом с сыном и три года войны без него... Да, когда он вернулся из Австрии, сыну было больше трех лет. Сын стоял во дворе, держа в руках баночку из-под гуталина, и был серьезен печальной серьезностью детей войны, которая вошла в их сознание вместе с первыми словами матери. Отец пытался разбудить в себе те чувства к нему, которые унес с собой на войну и которые, как ему казалось, он сохранил и принес обратно. Но этот насуспенный ребенок во дворе не сразу соединился с образом сына, и, когда отец подхватил его на руки, сын отвернулся, крепко зажав баночку. Отец поцеловал его, уловив его детский запах и запах той комнаты, где застал их два года назад в отпуске после Курской битвы, — и во всем этом было столько беспомощно-непоправимого, совершившегося по какому-то печальному закону одиночества, что он вдруг почувствовал, что так и не смог защитить семью от войны.

Он несколько раз заново открывал для себя сына.

Однажды — когда тому было лет семь — летом в Москве, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Оба запомнили тот день. Сын запомнил солнечный мост через Москву-реку, висящий на тонких спицах лучей, за которым началось долгое неслабеющее чудо — и он бежал по гравийным аллеям и тащил отца от одного аттракциона к другому, подсакивая от нетерпения, и они садились в кабину колеса обозрения и медленно, неслышно поднимались на такую высоту, что холодок ее втекал в пальцы рук и ног и в живот, и вдруг стало, как в каком-то очень давнем сне, высоко, легко и просторно, и из-за лежащих внизу зеленых кочек деревьев выплыли крыши домов, блеснула река и через нее — знакомый мост, и все это соединилось в единое огромное пространство, и он еще удивился, как много они прошли с отцом по набережной до этого моста, но пространство все раздвигалось, вбирая в себя новые дома, деревья, повороты реки, под солнцем поблескивали окна, и в дымке города сизыми великанами стояли высотные дворцы со шпилями, внизу медленно передвигались игрушечные машины, а люди, казалось, вообще застыли, кабина едва уловимо покачивалась, тихо поскрипывала и пронесла их над городом, над людьми, пока не стала опускаться все ниже и ниже — и деревья вырастали на глазах... А потом он сел в кабину самолета, его пристегивали ремнями через плечи, как настоящего летчика, впереди, взревев, дробил солнечный свет бешено крутящийся винт, и весь этот мир провалился под ноги, оказался внизу, а потом снова махом бросился навстречу и снова ушел вниз — и так чередовались небо и земля, ярко-голубое и темно-зеленое, приливная волна взлета и холодящая, истомная волна падения, похожая на ту, что узнал он потом, через много лет...

А отец — он с удивлением смотрел на этого возбужденного мальчика с горящими глазами и быстрыми азартными движениями и дал себе слово заняться им, но через месяц уехал на военные учения, и воспитание сына было отложено.

Началось это воспитание только с увольнением отца в запас, когда они уехали из Сибири, началось с неистовой отцовской педантичности, за которой стояло упущенное время. Сыну шел

двенадцатый год. По-женски ласковый и мечтательный, был он тих, замкнут и застенчив, талантов не обнаруживал, часто болел. И доброта его тоже была женской — ответной.

Отец брал его с собой в баню — ходили в так называемую «коммерческую» с бассейном и разнообразными парилками, в том числе и сухой, которую тогда называли «римской». Но чаще всего парились в так называемых «собачниках» — как бы конурах, поставленных на попу, откуда торчали одни только головы... Отец скрытно оглядывал мальчишескую фигуру сына, впалый живот, острые крылья таза, чуть припухшие, видно, побаливающие соски и тонкие руки, принужденные вблизи маленького, в пенном ожерелье естества. Следовало бы поговорить с ним по поводу мальчишеского греха, да все как-то не складывалось.

...Баня. Сухой смолистый дух сосновых реек, которыми была обшита римская парилка, зеленоватая, прохладная глубь бассейна, отблески воды на белом кафеле, белые простыни, в которые они заворачивались, крупные капли пота на красном, долго не остывающем лбу отца, пиво, которое приносил отцу банщик.

Намерению отца отдать сына в суворовское училище неожиданно воспротивилась мать:

— Много ли я тебя видела за все эти годы? А теперь и сына под ружье? Нет уж, будем жить все вместе, как нормальная семья.

О суворовском училище сын слышал с малолетства, и форма суворовцев, которых было так много после войны, их строй вызывали зависть всех дворовых мальчишек, но теперь, в свои двенадцать лет, он не хотел быть суворовцем. Однако жизнь его вполне стала походить на суворовскую. Если он утром медлил лишнюю минуту в постели, отец срывал одеяло... Надо было делать физзарядку и лезть под холодный душ. Летом у тетки на даче один среди соседских мальчишек он должен был бегать после этой треклятой физзарядки к реке и там окунаться, несмотря на погоду. Иногда отец бежал рядом с ним — проверял. Ровно дыша и старательно работая руками, отец с деланным дружелюбием подбадривал сына, но он был неважным воспитателем, и ярость — до ослепления, до горячей тяжести в затылке — ждала своей заветной минуты. Это была ярость человека действия, неустанного жизнелюбца, не выносящего полудвижений. Эта отцова ярость подстерегала сына в самый неожиданный момент — тогда он пулей слетал с крыльца, а вслед ему с шорохом осколка пронеслась алюминиевая кружка, в которой отец только что взбивал мыльную пену для бритья.

— Ну, Юра, нельзя так! — раздавался за раскрытой дверью голос матери, но сын даже не смел оглянуться...

Ох уж эти утренние пробежки! Бегать он не любил. Не полюбил и в армии, когда сам бежал рядом со своим взводом. В одно из свежих, чистых утр, с пятнами солнца на нежных листьях лип, с росой на траве обочь дачной тропинки, — в одно из таких утр он добежал лишь до конца дачного участка и спрятался под липой, среди ее поросли.

Утренний мир глядел на него изо всех еще прохладных и влажных щелей и уголков. Чтобы не замерзнуть, он сидел на корточках, обхватив себя за плечи. Он еще не совсем проснулся и был недвижим, как эти недвижные листья в бисеринках влаги, как паутина с пауком, провисшая под тяжестью росы, как дальняя на просвете яркого синего неба верхушка пирамидального тополя, где, видно, уже припекало солнце, — он сидел в этом зеленом выжидающем безмолвии в полудреме и полумечте, сам такой же лист, такая же паутина, и вдруг, подняв голову, увидел в стороне на тропинке отца. Их взгляды встретились. В тот же миг он вскочил, крикнул:

— Папа, я бегу! — и побежал, скорее — убежал от отцовского гнева, и, летя над ребристыми плитами тротуаров, перескакивая через выбоины, с пустотой страха где-то ниже горла, он все никак не мог забыть лицо отца, идущего по тропинке, идущего явно следом за ним.

Трудное было лето. Еще были какие-то занятия русским языком и математикой только потому, что учителя сказали, что он может учиться лучше. И ожидание отцовского взрыва, когда не решалась задача, и чем больше отец объяснял, тем непонятней все становилось, и должна была

вмешиваться мать, но все-таки тетрадь с задачками летела взъерошенной курицей через комнату и шлепалась о стену...

— Юра, ну так же нельзя...

Сын молча глотал слезы, пытаясь унять дрожь.

Отец торопился — он был уверен, что долго не протянет. Сын неплохо учился, был усидчив, но несобран — за ним надо было следить.

Рисовал, и у отца мелькала мысль, что по этой стезе он и пойдет, но пристрастия сына менялись. Вдруг он надолго увлекся моделизмом — и это тоже обнадеживало, пока, лет в пятнадцать, не были брошены и модели. Хотелось, чтобы он знал свое дело и свой путь — пока же он рос, как трава.

Каждое лето, хотя бы на месяц, его отправляли в пионерский лагерь. В лагере он томился и считал дни до конца смены, чтобы снова оказаться дома. В родительский день — их было два за смену — сын, загорелый и вроде бы окрепший, встречал его еще у дороги с букетиком земляники. Потом они сидели на одной из земляничных полян, и от ягод исходил запах, почему-то напоминавший молодость, гражданскую войну, перегретый на солнце подлесок и уханье шестидюймовых орудий. Странно, что сын в лагере скучал. Есть ли у него товарищи? Есть, отвечал сын. «Ты еще ни в кого не влюбился?» — «Что ты!» — мотал головой сын, словно его уличали в чем-то постыдном. — «В твои годы я уже влюблялся».

Хотелось расшевелить его, побудить к резкому, смелому движению. «Давай пробежимся?» — «Не хочу, папа». Но потом, во время футбольной встречи, — сын играл правого полузащитника — отцовское сердце успокаивалось. Нормальный парнишка. Старался изо всех сил, был вполне ловок, противника не боялся. Если к нему попадал мяч, не торопился отбить, а шел вперед. У него все-таки был характер — скрытый, незаметный, но был. Собственно, чего он хотел от сына? Чтобы был похож на отца?

А потом в одно прекрасное лето сыновья тоска по дому исчезла. «У него появились подружки», — констатировал отец. «Не рано ли?» — обеспокоилась мать. Он только улыбнулся. Четырнадцатилетний сын теперь сам наезжал из так называемого комсомольско-молодежного лагеря, но только затем, чтобы поменять одежду. Он стал следить за своей внешностью, у него прорезался басок. А еще через два года начались вопросы, их становилось все больше, и на некоторые непросто было ответить.

Его интересовала история, внешняя политика, он стал называть имена литераторов и живописцев, о ком до недавних пор почти не говорили. В доме появился электропроигрыватель, заменивший послевоенный патефон, зазвучала классическая музыка, по вечерам в своем закутке за секретером сын листал альбомы с репродукциями картин. Кажется, он оставался девственником, и это тоже заботило отца: мужской характер закладывался тем скорее, чем раньше познавалось женское. С ним самим это произошло в четырнадцать лет — а уже искушенной гимназистке, дочери сызранского хлеботорговца Наде Самолук, было на три года больше. На одном из вечеров в женской гимназии во время игры во флирт цветов в ответ на его послание она передала ему карточку, где значилось: «Ты еще не умеешь любить, мой ребенок, мой ангел прекрасный». Смеясь, он часто повторял эти слова сыну.

Так или иначе сын вырос, и он любил его и, как все отцы, видя и зная его недостатки, преувеличивал и его достоинства. Ему казалось, что сын умней, чем был он сам в том же возрасте, и кругозор его шире. Сын выбрал науку. По сути, все, что он ни делал, он делал по собственному выбору, и было бы ошибкой препятствовать ему. Жаль, что он не выбрал армию — там жизнь проще. Что ж, возможно, в сыновней науке и есть определенный смысл. Мир науки был когда-то и его миром. Но он никогда не сожалел о том, что ушел из него, и подаренная приятелю по академии диссертация, сделавшая того ученым мужем, не мешала ему спокойно спать.

...И наконец сын сделал самое лучшее из своих дел — подарил ему внучку.

Как-то он провожал сына до вокзала — тот ехал забирать своих из деревни. Автобус вез их через весь город, вечерело, набережные Невы были озарены закатом, и, сидя на переднем сиденье в полупустом салоне, они вели одну из тех задушевных бесед, которые долго согревают. Они говорили о работе сына, о Кате, о том, что Галя должна обязательно закончить институт, и все, что ни говорил сын, было хорошо, умно, правильно — рядом сидел сложившийся, уверенный в себе человек. Они вышли на Обводном канале перед вокзалом. Здесь было уже сумрачно, только верхние этажи домов и купол церкви еще светились оранжевым светом. Сын взглянул на часы и вдруг охнул: «Батя! Семь минут до отхода. Я бегу. Пока!» — и, подхватив за лямку рюкзак, побежал. Как же так получилось? Действительно, сын опаздывал. Видно, автобус слишком медленно шел. Отец стоял в растерянности, тревожась за сына и все больше и больше огорчаясь тому, что их прощание так нелепо оборвалось. Он еще раз глянул на часы, на перекресток, на светофор, мигнувший зеленым огнем, и, согнув руки в локтях, потрусил следом за сыном.

Он уже давно не бегал, разве что на месте, во время утренней зарядки, и сразу это почувствовал. Он сбавил темп, выровнял дыхание, вошел в ритм. Правая нога почти не болела. К поезду уже никто не спешил, зато навстречу рассыпалась толпа прибывших на пригородной электричке. Он побоялся, что ему помешают, но перед ним почтительно расступались. «Во дает папаша!» — весело крикнул кто-то. «Если успею, проживу еще десять лет», — азартно подумал он, даже не подумал — мысль сама промелькнула. Он обогнул здание вокзала и, бросив взгляд на платформу, сразу определил, где поезд сына. Он помнил, что у того третий вагон. Далеко. Поезд еще стоял, когда он добежал до него. Он стиснул кулаки и побежал вдоль вагонов, стараясь не сбиться с ритма, зная, что только в таком случае добежит: два шага — вдох, два шага — выдох. На него оглядывались, и кто-то из проводников недовольно крикнул, чтоб скорее садился. Он махнул рукой, давая понять, что провожает. Шестой, пятый... «Успеваю», — подумал он и в этот момент увидел сына.

«После 9 Мая, Дня нашей Победы, который я встретил в Вене, было много банкетов с дружескими поцелуями, клятвами и душевными излияниями — непременно атрибутами этих застолий. Был банкет и в штабе 3-го Украинского фронта, были разговоры, были клятвы, но все это прошло мимо меня после тоста, произнесенного командующим 3-м Украинским фронтом маршалом Толбухиным. Он сказал:

— Дорогие друзья. Мы разгромили вероломного врага. Война закончилась нашей победой. Теперь, на этой встрече, как говорится в одной притче, кто хочет есть — ешьте, кто хочет петь — пойте, а кто хочет плакать — плачьте. — И с этими словами маршал заплакал».

С Наташей Сергей так и не успел встретиться. В полдень на работу позвонила мать:

— Сын, отцу плохо! — голос ее прервался.

— Что? Что? — кричал он в трубку. — Говори спокойнее! — не замечая, что сам кричит.

Трубка молчала, так что была слышна акустика больничной лестницы, где висел телефонный аппарат, — медленные шаги по ней. Видно, кто-то поднимался. Наконец ее сдавленный голос снова пророс в лестничной пустоте:

— Ты когда сможешь подъехать?

— Сейчас! Я выезжаю немедленно!

— Сейчас не обязательно. Ему поставили капельницу. И стало лучше... — Мать понемногу успокаивалась, словно ей только и нужно было выговориться.

— Мама, я сейчас приеду.

Он бросил трубку, уловив краем глаза, что две еще невестящиеся лаборантки, похожие на глупые церемониальные каллы, сочувственно оцепенели. Все в эти дни выражали ему свое сочувствие.

На улице с ходу подвернулось такси. В опущенное стекло задуло, и сразу задышалось легче посреди каменно-асфальтного пекла. Ехали быстро, и на сердце стало спокойней. Странная жизнь. Раньше он думал — жизнь там, куда он стремится и куда рано или поздно придет, а жизнь — это всего лишь стремление, вот этот машинный бросок из одного конца города в другой, через улицы, перекрестки, мосты, когда рвущийся в кабину ветер дохнёт вдруг водой, простором...

Мать хлопотала возле спящего отца. Оглянулась на него,хватила ртом воздух.

— Видишь... — Она в изнеможении опустила на край стула. — Стала обедом кормить. Ел. Взгляд такой разумный. А потом... все это... обратно. Это было страшно... — Она прижала руки к груди, вода головой из стороны в сторону. — Такие спазмы. Он весь позеленел...

— Ты мне сказала, все хорошо?!

— Это потом, потом, — простионала мать. — Давай что-то делать, так нельзя...

— Не надо было его кормить.

— Как не надо? Врач сказал — надо. Он три дня ничего не ест, только пьет немножко. Организму ведь нужны силы, чтобы бороться... Надо простыню поменять. Тут, оказывается, такие правила — не дают лишней простыни. Вот это мне непонятно. Это ведь тяжело больной человек. Пришлось к дежурному врачу обращаться.

Вошла сестра-хозяйка с чистой простыней. На мать она не смотрела. За ней появилась еще одна девушка с ведром и шваброй.

Сергей предупредительно отодвинул кровать. Он испытывал неловкость перед этими девушками — он предпочел бы сделать все сам. Но девушки делали свое дело. Молча и угрюмо. Сестра-хозяйка, продолжая не замечать мать, снимала наволочку, одеяло, а мать заходила то справа, то слева, желая помочь и оскорбляясь ее замкнуто-брезгливыми движениями. Отец лежал теперь непокрытый, в одной майке, не зная ничего о них, видящий свой очередной сон, отросшие волосы его были сбиты набок, придавая лицу ошеломленное выражение.

Вытащив из-под него простыню, сестра-хозяйка стала подсовывать края свежей. Мать не выдержала, сунулась с тряпкой:

— Ну зачем же сразу стелить?! Надо хотя бы клеенку вытереть.

— Не говорите, — сквозь зубы процедила девушка.

— Как не говорите?

— Не говорите ничего, — глухо повторила та, не прекращая своих насильных движений, в которых, с точки зрения матери, не было достаточного уважения к больному.

— Как? — Мать повернулась к сыну, ища поддержки. Она тоже едва сдерживалась, но тон, когда она вновь обратилась к девушке, был полон чувства собственного достоинства:

— Я вынуждена сказать врачу, что...

Сергей сжал ей руку. Нельзя было требовать слишком многого от этих посторонних людей. Нельзя.

Продев простыню, девушка зашла с другой стороны отодвинутой койки и кивнула своей напарнице. Вдвоем они привычным слаженным движением дернули края на себя.

— Держите больного!

Отец перекатился набок, как перекатываются грудные дети. Мать прикусила губу, и брови ее задергались. Отца положили в удобную позу, накрыли простыней и одеялом. Подхватив с пола кипу белья, девушки ушли.

— Какое унижение... — беспомощно прошептала мать. — Какое они имеют право?! — Ее губы тряслись, не повинуюсь ей.

— Мама, перестань. Они устали. У них это каждый день. Понимаешь? Каждый день.

— Но это их работа!

— Нет, здесь нельзя требовать от человека больше, чем он дает. Ты сама устала. Иди, я останусь с ним.

— Сегодня был консилиум врачей, меня попросили выйти. И говорили. Довольно долго. Потом сказали, что положение серьезное. У батеньки началось двустороннее воспаление легких. При таком инсульте, как у него, это опасно. С сегодняшнего дня ему вводят антибиотики. Но температура держится. Не знаю... Надо пролежни обрабатывать. Переворачивать... Ты не сможешь.

— Ну что ты говоришь?

— Да, сын, ты не очень внимательный. Мне лучше остаться.

— Тогда я буду ночью.

— Нет, ночью нет.

— Тогда иди отдохни.

— Я не могу. Я все равно буду о нем думать. Буду думать, что со мной ему спокойней. Мне самой спокойней с ним. Сижу, глажу его руку... Он чувствует. Ты знаешь, рука у него стала лучше. Я говорю: «Батенька, сожми», — и он пожимает мне руку. Слабо, но пожимает. Я все сижу и думаю: господи, пусть хоть так, как сейчас, и то хорошо. Я буду сидеть с ним, сколько понадобится. Год, десять лет. И ничего больше мне не надо. Ты знаешь, вот сейчас только бы ему поправиться, и он еще долго проживет. У него же теперь ничего не болит. Ноги перестали болеть, руки перестали. Его болезни в старости протекают очень медленно... Я вот что сделаю — я сейчас действительно поеду домой. Во-первых, привезу еще белья. Во-вторых, сделаю его любимый компот.

«Под номером первым на Песчаной улице в Сызрани, неподалеку от крутого спуска к реке Крымзе, значились развалины большого кирпичного завода, сторевшего во время пожара в 1905 году, когда огнем почти начисто был уничтожен весь город. Его в основном деревянные дома скоро снова поднялись из пепла, город даже расширился, но некоторые здания так и лежали в руинах. Развалины кирпичного завода были любимым местом игр ребят с Песчаной улицы. Любил там играть и мой новый приятель, с непривычным именем Болек.

Сын варшавского судьи, вместе с семьей эвакуировавшегося в Сызрань в 1915 году, в разгар империалистической войны, двенадцатилетний Болек был очень красив. Легкий коричневый пиджачок, белоснежная рубашка с галстуком, короткие коричневые бриджи на пуговицах под коленями, чулки под цвет костюма, всегда до блеска начищенные туфли делали его взрослее. Впрочем, Болек имел несколько женственный вид. Может быть, поэтому никого не удивляло, что он вопреки нашим негласным мальчишеским законам играл в основном с девочками.

Вот в их-то компанию однажды он и пригласил меня. Среди подружек Болека одна выделялась своей особой ладностью. Она не была похожа на голенастых, угловатых и нескладных сверстниц и казалась статуэткой, с любовью изваянной скульптором. Отличалась она от них еще и

тем, что под беленькой блузкой у нее уже отчетливо обозначились девичьи грудки. У нее были светлые волосы, а ее большие, глубокой голубизны глаза были осены длинными черными ресницами; вместе с такими же угольно-черными бровями и ярким ртом они сразу же приковывали к ней внимание. От всего ее облика веяло свежестью и обаянием. Имя Груня и фамилия Корсунцева как-то очень шли к ней, к ее неизменной улыбке, к ее излучающим надежду на счастье глазам. Она была дочерью священника, служившего в единственной в городе небольшой староверческой церкви, добротной сложенной из красного кирпича. В тонкостях православия старой и новой веры я не разбирался и только знал, что староверы совершают крестное знамение не тремя, а двумя перстами.

Плененный Груней Корсунцевой с первого взгляда, я сразу же подумал, что рядом с Болеком мне глупо на что-либо надеяться, и решил больше не появляться в его компании. Но к концу дня, наигравшись с девочками, с Болеком и с Груней в прятки, горелки, лапту, я понял, что буду играть с ними и завтра, и послезавтра, и вообще всегда, пока меня не прогонят. В тот первый день я испытал какое-то новое для себя чувство безмерной до слез нежности к Груне, желание постоянно быть около нее, оберегать ее, заботиться о ней. Ради ежедневных встреч с нею я решил мириться с тем, что она, конечно же, отдает, если уже не отдала, предпочтение Болеку. Это сложное, впервые испытанное мною чувство было в полном противоречии с моими представлениями о взаимоотношениях мужчин и женщин. И весь мой «опыт» не имел ничего общего с чувствами, охватившими меня теперь. Когда во время игры мне выпадало догонять ее, ловить, удерживать за руку или даже за талию, каждое прикосновение к ней ошеломляло меня.

После игр, продолжавшихся обычно до наступления темноты, я, если Груня оказывалась без подруг, провожал ее до самого дома, который находился в нескольких кварталах отсюда. Не торопясь, мы шли по слабо освещенным улицам и говорили на самые разные темы, за исключением тех, которые касались дружбы и тем более любви, хотя мне до замирания сердца хотелось говорить именно об этом.

День проходил за днем. Груня уже привыкла посвящать меня во все подробности гимназической и домашней жизни, в которой были свои радости и огорчения. Наибольшим огорчением был случай, когда ее, пришедшую на вечер во 2-ю женскую гимназию, директриса гимназии хотела выдворить за дверь, решив, что Груня подкрасила брови и ресницы. Оскорбленная до глубины души, Груня не выдержала и расплакалась, но именно ее обильные слезы и реабилитировали ее в глазах директрисы.

Рассказывал о своих делах и я. У меня в ту пору шла война с преподавательницей французского языка. А началась она сразу после весенних каникул. Дело в том, что наша преподавательница, старая дева, одевавшаяся по самой последней моде, до каникул имела внушительный бюст, привлекавший внимание всего нашего класса. Однако после каникул она пришла в платье английского покроя с плоской грудью. Когда на первом же ее занятии гимназисты стали шептаться по этому поводу, и мой сосед Сережа Елизаров спросил меня, куда она дела свой бюст, я, имея в виду начавшиеся перебои с продовольствием, ляпнул: «Съела за время каникул». Мой ответ, как видно, был услышан, ибо теперь француженка на каждом занятии буквально изводила меня своими бесконечными придирками и добилась того, что я до сих пор из всех иностранных языков недолюбиваю французский, хотя и штудирую его, чтобы научить внучку.

Чувствуя, что рассказать Груне о своей безмерной нежности я никогда не решусь, и что мои разговоры и в дальнейшем будут ограничиваться перипетиями войны с француженкой, я решил написать ей письмо. Не менее недели я писал письма Груне, но ни одно из них не казалось мне достойным ее, и я рвал их одно за другим. В конце концов я купил письмовник, в те времена они были весьма популярными, и переписал оттуда без переделок «Письмо к сентиментальной барышне». От себя в этом письме я добавил только ее имя вначале и свое в конце. Письмо, полное излияний в любви, заканчивалось вопросом: «Да или нет?»

На следующий день, встретившись с Груней, я, покраснев, как помидор, передал ей это письмо. Смутившись, Груня скрылась в развалинах, чтобы немедленно ознакомиться с его

содержанием, и вскоре появилась радостно возбужденная. Она приблизилась ко мне и шепнула: «Да, давно да. Как вы не заметили этого?»

Краткий и недвусмысленный ответ Груни как бы подтвердил мое право ежедневно провожать ее домой. Эти провожания стали для меня столь важны и дороги, что я мечтал о них непрестанно.

К этому времени война с француженкой отошла на второй план, и я был поглощен новой идеей — убежать на фронт. Груня вздрагивала, когда я заводил об этом речь, а я в такие минуты чувствовал себя старше своих двенадцати лет, просил ее не волноваться и верить, что я ее никогда не оставлю.

В один из темных летних вечеров, когда мы шли к дому Груни дольше обычного, причем я, пользуясь темнотой, держал ее под руку, Груня неожиданно притянула к себе мою голову и прямо мне в ухо, едва слышно, не шепотом, а одним дыханием своим промолвила: «Нам пора прощаться. Поцелуйте меня и идите». От этих слов у меня закружилась голова, как кружилась от курения, в которое я только начал втягиваться. Едва ли сознавая происходящее, я поцеловал Груню не то в щеку, не то в голову — во всяком случае, не в губы. Когда Груня открыла калитку в садик перед своим домом и протянула мне руку на прощанье, я схватил ее руку и поцеловал в маленькую ладошку. Обратно я не шел — летел по улице, прыгая и смеясь, благо была абсолютная темнота, и, наверное, имел вид сумасшедшего. Влетев к себе домой и рухнув на постель, я не мог уснуть и только к утру впал в какое-то забытье».

— Геня! — раздалось за спиной. Сергей обернулся и вздрогнул. Маленький, прежде не встававший старик стоял, держась за спинку кровати, и огромными глазами смотрел на него. Кожа его была прозрачна и как будто светилась. В глазах, смотрящих на Сергея, что-то произошло, осмысленное выражение наполнило их:

— Молодой человек, помогите мне. — В углу его рта обозначилась смущенная улыбка. Сергей подошел к нему:

— Чем вам помочь?

— Помогите мне.

— Ему нельзя вставать, — бросил из своего угла высокий старик, не меняя позы.

— Помогите мне.

— Что вы хотите сделать?

— Я хочу... — старик задумался, — я хочу идти.

— Вам подать утку?

— Я хочу идти... Геня?!

— Если будешь шуметь, врача вызову, — крикнул высокий старик, приподымая голову, — он даст тебе снотворное, чтобы спал.

Дверь раскрылась от толчка ноги, и появилась процедурная медсестра с подносом, где на вафельном полотенце лежал приготовленный шприц.

— Это еще что за цирк? — сказала она, ставя поднос и устремляясь к старику. — А ну-ка в постель! И никаких! Что за мода такая? От сквозняка шатается... Спать, и никаких! Геня? Геня уже был.

— Геня не был...

— Был, был, был! — прокричал из угла высокий старик. — Только ты все забыл. Был твой Геня и теперь будет только завтра. Понял? Завтра! Дай ему, Тамара, снотворное. А то кричит тут, как петух.

— Завтра... — машинально повторил Святослав Захарьевич, питерский курсант, почетный гражданин города Орехова, и было видно, что он не понимает этого слова.

Сергей не смотрел, как отцу делают укол. Его лоб был жарок и влажен, и нехороший румянец запекся на щеках. Намочив и выжав в раковину полотенце, он стоял перед отцом, размахивая, как показывала мать. У него устали руки, и он подумал, что надо принести с работы вентилятор. Он еще раз намочил полотенце и положил отцу на лоб.

...Большой отцовский лоб, высокий, с четырьмя морщинами. Ощущение талантливости от всей его тяжелой, красивой головы с орлиным носом, величественным ртом и твердым решительным подбородком.

Термометра на тумбочке не оказалось. Сергей вышел в коридор. Дверь в палату напротив была приоткрыта, и в поисках медсестры он глянул в ее полутьму, удивляясь этому не по времени сумраку. Что-то странное происходило там. В следующий миг он осознал, что это на кровати, обшитой с боков досками, шевелится очень старый человек, высохшее видение с голым черепом. Движения его были инстинктивны, как у новорожденного, — не было в них лишь воли к жизни, и тем страшнее было упорное постоянство, с которым они совершались. Но прежде чем отвести взгляд, Сергей, содрогнувшись, уже поневоле, как под пыткой, в безжалостных подробностях разглядел на другой кровати еще одну скрюченную фигуру. Там лежали бывшие люди, давно пережившие самих себя, сначала свою душу, потом свое тело, и, не зная, кто они, где они и что с ними происходит, они еще копошились в полутьме, установленной из сострадания то ли к ним, то ли к человеческому взгляду на них.

Температура у отца поднялась на две десятых. Он спал, тяжело дыша. Сергей убрал со лба полотенце, подумав, что оно может добавить простуды. Он снова намочил его и стал коротко помахивать перед лицом отца. Веки отца подрагивали от мелких брызг.

— Да... жарко... — ни к кому не обращаясь, промолвил из своего угла старик с целлулоидной лысиной. — Как на юге. А там — как на севере. Вчера передавали — температура у берегов Ялты двенадцать градусов.

— Вы о чем? — крикнул со своей койки высокий старик.

— Так... с молодым человеком разговариваю.

Когда, уже в первом часу ночи, Сергей добрался до дому, вслед позвонила мать.

— Сын, боюсь сглазить, — сказала она. — Но отцу, кажется, лучше. Он просыпался. И температура упала.

«Первый поцелуй скрепил нашу любовь. Мы страдали от разлуки, тянулись друг к другу, но больше ни разу не целовались. Груня уговаривала меня не убегать на фронт, и привязанность моя к ней стала столь велика, что я решил на время отложить свое намерение. Не зная, как иначе выразить взаимную нежность, мы делали друг другу подарки. Я обычно дарил свои рисунки, иногда вставленные в рамки, иногда наклеенные на деревянные призмы и кубики. Преподносил ей и альбомы со своими стихами. Груня же мне презентовала свои белые нитяные перчатки, которые я, как реликвию, носил в правом кармане брюк. Дала она мне на время и трость из красного дерева, очевидно, отцовскую, без которой я теперь и не гулял с ней.

В один незадачливый день я, как обычно держа эту трость в руке, пытался освоить езду на велосипеде, который мне дала жена хозяина столярной мастерской. Велосипед был большой, мне не по росту, так что я вынужден был ездить на нем стоя и потому то и дело падал. И вот, отряхнувшись, после очередного падения я, к ужасу своему, обнаружил, что трость сломана. Я

мучительно соображал, что же скажу теперь Груне, а на следующий день, так ничего и не придумав, я лишился и ее перчаток.

Случилось это так. После занятий вместе с несколькими гимназистами я забежал покурить в уборную. Не торопясь, я смолил папиросу, уже затягиваясь по-взрослому, как вдруг в уборную с криком «директор идет!» вбежал гимназист. Растерявшись, я сунул горящую папиросу в правый карман. Александр Григорьевич, директор гимназии, в уборную не зашел — только заглянул в дверь, но и этого времени оказалось достаточно, чтобы белые нитяные Грунины перчатки превратились в обгоревшие лоскутки.

У меня не хватило смелости рассказать Груне об этой утрате, и я все время со страхом ждал, когда тайное станет явным. Я даже стал избегать встреч с ней. Но для возникшего отчуждения были и более серьезные причины. К тому времени моя любовь к Груне была столь велика, что она буквально сковала меня. Груня для меня была столь чиста и целомудренна, что я не мыслил себе тех отношений с нею, о которых был уже достаточно наслышан. А может быть, беда наша была в том, что мы встретились слишком рано.

...Судьба дала мне возможность увидеть Груню еще раз в течение нескольких мгновений. Это произошло в 1921 году, когда я после окончания гражданской войны и завершения борьбы с бандитизмом на Украине приехал в отпуск в Сызрань. Столкнулся я с Груней в дверях какого-то учреждения. Я входил, а она выходила... За несколько лет, что мы не виделись, Груня из девочки-подростка превратилась в ладную, стройную девушку с высокой грудью и пышными светлыми волосами. Ее густые ресницы и брови были по-прежнему словно подведены сурью. В первый миг у меня возникло инстинктивное желание броситься к ней, но ни я, ни она этого не сделали, и, глянув в глаза друг другу, мы молча разошлись.

До сих пор не могу себе объяснить, почему я не заговорил с Груней. Судя по тому, как она была одета, жилось ей неплохо и в этот трудный период военного коммунизма, но во всем ее когда-то столь дорогим для меня облике чувствовалась какая-то подавленность и растерянность. Скорее это шло от морального состояния, от сознания того, что советские власти относились к церкви отрицательно, и она, дочь священника, не могла не испытывать этого на себе. Да и я сам мыслил и действовал в духе популярной среди комсомольцев тех лет песни: «Долой, долой монахов, раввинов и попов! Мы на небо полезем, разгоним всех богов...»

Меня и сейчас иногда отягощает мысль, что именно поэтому я не остановил Груню... А может быть, это совсем не так».

Сад раньше раскаленных улиц вобрал в себя вечернюю прохладу, в нем глубоко задышала листва, и ее свежий дух потек через решетку к набережной, к глянцеви́то-маслянистой воде. Солнце ушло за крыши домов, и зелень соединилась, слилась в сумеречные кущи. Над головой застыли распахнутые во все стороны ветви, словно что-то недоговорив. Недоговоренность была и в траве, в ее изумрудном лоне, тревожно фосфоресцирующем за темными стволами деревьев, и в купах барбариса с его дерзким плотским духом цветения. Во всем была жизнь, и тайна, и ожидание.

Сергей шел и улыбался. Он видел перед собой лицо отца. Они и не заметили, когда он очнулся — хлопотали с матерью вокруг него, потом враз подняли головы, — отец смотрел на них. Он не только смотрел — он видел их, видел и понимал, что это они. Он смотрел без прежнего недоумения — смотрел спокойно и приветливо. Оба склонились над ним.

— Батенька, проснулся, родной, — сказала мать.

Его веки дрогнули, показывая, что он слышит ее, взгляд его обратился к сыну, и легкое подобие улыбки обозначилось на губах. Он смотрел издали, как смотрят после долгого, тяжелого сна, но в нем уже была сила обрадоваться им.

Сергей шел, не осознавая, что его губы повторяют улыбку отца, и ему хотелось заплакать. Он даже коротко, беспомощно всхлипнул — один на темнеющей аллее.

— Все будет хорошо, — страстно заклинал он, — все будет хорошо.

Отец, отец, чудесный старик, беспомощный, но живой, излучающий добро, надежду, веру, которых так не хватало всем им. Даже прикованный к постели, давно в стороне от их дел и забот, он был опорой для них с Галей, оставался отцом, а они оставались детьми, с этим неотъемлемым от их жизни ощущением его скромного, ненавязчивого присутствия. Он никогда не вмешивался в их взрослую жизнь, но, идя своим, порою ошибочным путем, они сами оглядывались на его отношение к собственной жизни, к жизни вообще. Это отношение нельзя было бы определить несколькими точными словами, но оно обнаруживалось во всем столь явно, что нельзя было поступать по-своему, не помня об отце.

Лет пять назад, когда они с Галей готовы были разойтись, Сергей решил рассказать обо всем отцу и попросить совета. Отец внимательно выслушал, но отвечать не спешил. Словно в помощь себе, он выпростал из-под одеяла свои ладони с прямыми пальцами и воздел их над собой, поворачивая так и эдак. Сын терпеливо ждал, а отец, светло приподняв брови, продолжал в смущении рассматривать ладони. И вдруг Сергей почувствовал, что отец смущается не оттого, что не может ничего посоветовать, а оттого, что сын опустил до такого признания. И Сергей понял тогда, что есть вещи, о которых безнравственно спрашивать других.

...Домой идти не хотелось, глазами незнакомца он следил, как на оживших после солнечного пекла улицах совершается, словно в каком-нибудь южном городе, вечерняя праздничная жизнь. Но праздновать в одиночку он не умел, ему нужен был кто-нибудь, и он снова пожалел, что нет рядом с ним, ну, хотя бы Наташи. Почему не спросил у нее номер телефона — могли бы погулять, а заодно обсудили бы ее курсовую. Завтра он ее обязательно отыщет на кафедре.

Позвонил Пашке, другу юности, а теперь, за редкостью встреч, — скорее приятелю. Тот жил на другом конце города, так что Сергей заранее был готов к тому, что сегодня встреча не состоится. Договорились, что Пашка приедет в больницу завтра, — кстати, он матери об этом говорил, разве она не передала?

— Может, и передала, — сказал Сергей, — был какой-то разговор.

— Да... я понимаю, — смутился Пашка на другом конце провода. — Вам сейчас не до того. Если нужна моя помощь...

— Да, вроде, — сказал Сергей, — сейчас отцу стало лучше.

— Передай ему привет... Тьфу ты... Сам скажу завтра.

Сергей горько усмехнулся про себя.

Их отношения с Пашкой строились на Пашкином прагматизме в делах практических и на его, Сергея, лидерстве в области духовного. С Пашкой было без проблем. Сразу возникал какой-то особый контакт, будто окатывало теплой волной понимания. Они как бы все время подтрунивали друг над другом, а на самом деле поддерживали один другого, или, как говорят психологи, «поглаживали». Поглаживание это давалось им легко и приносило чувство душевного комфорта. Их можно было бы запускать в космос или в океан в двухместном батискафе. Их обозначившиеся, когда они оказывались вдвоем, роли доставляли обоим удовольствие.

Пашка работал инженером-конструктором в КБ. Был он могуч, с круглой головой, посаженной на неподвижные плечи. Ходил валким, как медведь на задних ногах, шагом, шурился, и маленькие голубые глаза его смотрели на мир с добротой и обидой. С обидой он стал смотреть на мир через год после женитьбы, которая, как он ни страшился ее, все-таки совершилась — так сказать, в силу рокового стечения обстоятельств. Женщина, к которой он много лет беспечно наведывался, вдруг решила стать матерью. Причем, видимо, в награду за это ничем и ни разу не поколебленное решение судьба послала ей двойню — так в один год Павел, будучи, так сказать,

глубоко порядочным человеком, превратился из закоренелого холостяка в отца семейства. Двух своих девчонок он признал сразу и привязался к ним навсегда, но с женой не сложилось и не складывалось, так что она уже уходила от него, забрав дочек, — а это, конечно, по его понятиям, было элементарным садизмом. Во время одного из уходов она ухитрилась без развода с ним оформить алименты, и теперь эти алименты были как бы презумпцией его постоянной вины.

Семейная его жизнь состояла из ежедневной борьбы на каждом пяточке семейного пространства, причем Сергей своими советами специалиста по социальной психологии нажил в лице Пашкиной жены заклятого врага, нажил прежде, чем понял это. Странно, что Пашкин прагматизм не нашел применения в семье, а так и остался прерогативой холостяка. Картины, купленные Пашкой в комиссионном магазине на Невском, ему пришлось продать по причине того, что он собирал исключительно ню; шашлыки, которые он мастерски готовил на балконе, были забыты вместе с мангалом; машина ржавела во дворе, напоминая об их бросках на юг, где Пашка когда-то разворачивался во всем великолепии своего холостяцкого предпринимательства. То, что он завтра после работы собирался ехать не домой, а в больницу, было поступком. Он и его жена — пара, которой брак противопоказан. Если б не дети! Пашка решил, что дети важнее. С тем и живет, складывая губы в улыбку, когда открывает собственную дверь.

Счастлив он только по воскресеньям, когда остается один — жена с детьми в Зеленогорске у тещи, там здоровее, и воздух чище, а ему здоровее здесь, в пустой квартире. Умытый и причесанный, он ходит по комнате в халате, поглядывает на одно-единственное ню, не без скандалов оставленное якобы на черный день. В руках у него медный ковшик-джезва с крепчайшим кофе и маленькая фарфоровая антикварная чашечка, которую он наполняет, уже сев в кресло и включив телевизор. Он пьет кофе маленькими глотками под песенку телепередачи «Утренняя почта».

Карьеры он не сделал, но он не честолюбив — ему «хватает». Зато ему — человеку вне схватки — видней, как другие рвутся к пирогу. Не горек ли тот пирог? Мест за столом все равно всегда меньше, чем желающих. Таков суровый закон действительности. Значит, не надо многого и желать. А вот Сергей Юрьевич, кажется, еще не изжил в себе тайной страсти быть первым и лучшим. Быть признанным и знаменитым. Чтобы о нем говорили. Галя не уважает такие штуки. Считает, что это у него от слабости, от ущемленности в детстве, от неправильного воспитания. «Надо выбирать цель по плечу, — говорит она. — Надо уметь просто жить, а не лезть на гору, высунув язык».

Хотелось с кем-то поговорить, но было поздно. Дома заволокло хмарью. Вода, светясь, молча и быстро шла мимо притемненных берегов под непогасшим небом.

Наутро отцу снова стало хуже. И снова был консилиум врачей, матери сказали, что состояние больного очень тяжелое. Ему назначили еще какие-то инъекции. Когда мать обмахивала голову отца влажным полотенцем, подошла врач, та, что осматривала отца в приемном покое, сказала:

— Не трудитесь. Он сейчас ничего не чувствует.

— Как это человек может не чувствовать? — говорила Сергею мать с возмущением. — Он же спит, дышит. Ему легче дышать, если я гоню свежий воздух.

Принесенный с работы вентилятор стоял в ногах у отца и уютно жужжал, пошевеливая его волосы. Отец лежал на правом боку, подложив, как всегда, руки под щеку и глубоко и часто дышал. Лицо его было красным. Термометр показывал тридцать восемь и четыре.

— Если отцу станет хуже, сразу зови меня, не церемонься.

Мать сама выглядела плохо — лицо отекло, кожа стала прозрачной. Двигалась она медленно и неверно, как человек, не спавший много ночей.

— Поезжай на такси, — сказал Сергей. — Вот деньги.

Она опять долго не могла уйти, словно, кроме отца, у нее уже ничего не осталось.

— Нет, поеду так, — сказала она. — Деньги нам еще пригодятся. Поеду на метро. В метро прохладно. И надо принять душ. Только бы добраться. Душ и чашку кофе. Мне нужен прохладный душ. — Мать говорила, словно в бреду, сама с собой. — У батеньки такие пролежни — страшно смотреть. Бедный, как он, должно, мучается. А врач говорит, что он ничего не чувствует. Разве так может быть? Ты протирай, и ноги протри... Там тоже пролежни... Нет, я останусь. Не нравится мне его состояние.

— Уезжай, мама, я позвоню, если понадобится.

Сделав все необходимое по уходу, Сергей уселся в кресло и достал Наташину курсовую. Как-то странно она на него сегодня посмотрела. Похоже, они оба обрадовались друг другу. Он развязывал тесемки папки с неясным, волнующим предчувствием, что между страницами вложено письмо или записка. Записка действительно была: «Сергей Юрьевич, извините, что не пронумеровала сноски. Сделаю все, как нужно, после ваших замечаний». Подписи не было, и это почему-то его задело. Он не хотел признаваться себе, что ожидал чего-то большего.

Он прочел несколько вполне гладких страниц и отложил рукопись. Что-то сумеречно-томительное повисло в воздухе. Запахло гарью. Он посмотрел на вентилятор. Лопасты его едва вращались. Он тронул корпус и сразу выдернул вилку. Как некстати загорелась обмотка. Отец запаленно дышал. Грудь его высоко вздымалась, словно он проделывал специальное дыхательное упражнение. Лицо его с закрытыми глазами было напряженным, как у человека на краю смертельного испытания. Такие лица бывают у штангистов, выжимающих почти непосильный груз, у летчиков при перегрузке, только для них это несколько мгновений, а для отца это стало растянувшимся за пределы видимого временем, которому не было конца. Казалось, знай отец, как трудно ему сейчас дается это усилие и как выглядит это со стороны, он бы постарался смягчить впечатление.

Сергей снова смерил температуру. Термометр показал тридцать восемь и восемь. Подошла медсестра и сделала укол.

— Когда начнет снижаться температура? — спросил он.

Сестра пожала плечами.

— Вам лучше спросить Светлану Николаевну...

— Дежурного врача?

— Да. Только она сейчас у тяжелобольного.

Значит, врач считала, что отец не слишком тяжел.

Пришел Пашка. Пот катил с его круглой доброй физиономии, и, хоть он утирался платком, пот снова выступал.

— Ну, жизнь, еле добрался. Конец света, Юрич. Он взглянул в сторону отца:

— Спит?

Сергей кивнул. Светлая Пашкина рубашка потемнела под мышками, на спине.

— Я тут гостинцы... — наклонился он над портфелем и вытащил сетку апельсинов.

— Не надо, — сказал Сергей. — Отец все равно не будет. Отнеси детям.

— У детей есть. Проснется и съест.

— Сам-то ел?

— Не успел.

— Поешь. — Сергей кивнул на не тронутый отцом обед. Первое он попросил сестру-хозяйку унести, а второе осталось.

— Да ты что?! — сказал Павел, но было видно, что есть ему хочется. — Шутишь, Юрич?

— Он все равно не будет.

— Почему?

— Ему сейчас не до еды.

Павел сделал озабоченное лицо:

— Что, так серьезно?

— Да ешь, говорю. А то унесут.

— Ну... если ты поддержишь.

— Да бери ты, наконец! — двинул к нему тарелку Сергей.

— Разве что котлету... — сказал Павел и, смущенно вытянув ее двумя пальцами из остывшего пюре, сглотнул разом, по-собачьи, даже не прожевав. — Да, Юрий Васильевич... — протянул он, словно хотел сказать отцу спасибо. — Проснется, ты ему скажи, что я приходил. Помнит ведь? Последний раз я видел его два года назад.

— Увидит — вспомнит. Сильно изменился?

— По-моему, совсем не изменился. Это мы с тобой меняемся, Юрич. Я за год облез, седина прет, сутулюсь вот. — Он вопросительно посмотрел, желая, чтобы его переубедили. Сергей переубеждать не стал. — Да и ты, Юрич, что-то дрябленький...

Пока Пашка ходил на улицу за питьем, Сергей снова смерил температуру. Столбик поднялся до тридцати девяти. «Что же это такое? — подумал он. — Тридцать девять — это слишком».

Впрочем, у него самого было однажды тридцать девять, а у Катьки — даже с половиной, при фолликулярной ангине. Состояние не из приятных. Каково-то сейчас батьке? Он приподнял одеяло и переместил ноги отца. Отец был горячим и влажным. Пусть лежит под одной простыней. Надо бы подышать кислородом. Так, на боку, трудно было приладить трубки, и Сергей придерживал оба конца. Сегодня струя кислорода отца не беспокоила. А дыхание стало вроде не столь бурным.

Из окна волнами накатывал жар, однако слепящий блеск исчез, зной стал серого цвета, и тополиный пух пролетал снаружи, как белый призрак. Оба ходячих старика сидели в столовой у телевизора, бывший командир звена морских охотников лежал, закрыв глаза, а маленький старик, отец Гени, мотавшегося между городом и дачей, спал.

В сущности, и он, Сергей Юрьевич, свою жизнь уже прожил. С ним уже давно ничего не происходит — все повторяется в десятый, в сотый раз. Хорошо бы заснуть и проснуться другим. И зажить по-другому. Выйти из игры, податься в бродяги, в егеря. Почему-то вспомнилось последнее интервью с Дворжецким. В зените своей головокружительной киношной славы он заговорил с корреспондентом не о новых ролях, а о том, что, может быть, гораздо лучше податься куда-нибудь в геологическую экспедицию. Он умер так же внезапно, как стал знаменит, и, казалось, смерть его была оговорена между строк того незадавшегося интервью.

Пашка принес квасу — квас был теплый. — Может, Юрию Васильевичу дать? Так и не просыпался?

Сергей покачал головой.

— Юрич, обиделся, что ли?

- Паш, не мелькай.
- Хорошо. Посажу почитаю.
- Может, тебе домой?
- Хочешь, чтобы я ушел?
- Сиди, если есть настроение.
- Есть.

Павел уселся на соседний стул и с треском распылил «Литературку», Сергей поставил термометр. Тридцать девять и четыре.

- Сколько? — спросил Павел, не поднимая головы.
- Тридцать девять и четыре.
- Не будешь звонить Людмиле Сергеевне?
- Что зря дергать...
- Ему что-нибудь дают?
- Колют. Только пока не вижу результата...
- У меня сорок было. Я помню.
- Ты вон какой здоровущий.
- Здоровые температуру переносят хуже.

Не надо больше мерить. Лишняя нервозность. К вечеру температура должна упасть. Сергей подошел к окну. Небосвод затянуло. Облака без формы и цвета медленно сходились со всех сторон. Душно пахло пылью, асфальтом, едким дымком выхлопов, повисшим вдоль Приморского шоссе. Машины шли непрерывно, у грузовых на выбоинах ухали и лязгали кузова. После работы город спешил на дачи. С той стороны Невки из ЦПКиО доносилась музыка. Приедет Катька, надо сводить ее на аттракционы. Они у нее пока на первом месте. Они и цирк.

Занавеска покачнулась — в палату вошел высокий старик.

— Что ж, Григорий Никифорович, фильм не смотрел? Я вот не вижу, так хоть слышу — и то интересно.

Григорий Никифорович, открыв глаза, смотрел на Сергея, словно это он его спросил.

— Что молчишь? — продолжал высокий старик, идя мимо к своей кровати.

Чтобы не испугать его своим незримым присутствием, Сергей неслышно шагнул в сторону.

— Молчит... лежит, — сказал старик, едва не зацепив Сергея и нащупывая рукой спинку кровати. — Нет в тебе ничего жизнерадостного. Скучный ты человек. Хочешь, расскажу, как в Одессе в двадцать шестом я...

— Не хочу, — отозвался Григорий Никифорович.

— Не хочешь — не надо. Только не залеживайся, слышишь? Не залеживайся. Вон тому лежать надо, а тебе — ходить, ходить. — Старик энергично подвигал согнутыми в локтях руками. — Сердцу нужна разумная нагрузка. Без нагрузки сердце слабеет.

— Ты не врач! — буркнул Григорий Никифорович.

Вошел целлулоидный Петр Иванович, и в палате стало привычнее и веселее, все на месте, все так же, как и вчера...

Сергей намочил полотенце и обтер сначала губы отца, потом лоб и щеки. Отец не реагировал на влажные, прохладные прикосновения — дышал тяжело и часто, погруженный в свою внутреннюю борьбу, отнимавшую у него почти все силы.

Сергей пошел к процедурной сестре. Увидев его, та сразу закивала.

— Сейчас сделаю. Уже пора.

— Пожалуйста, — выдавил он. — А то температура... Все поднимается.

— Сколько? — из вежливости спросила сестра.

— Было тридцать девять и четыре... — сказал он, с надеждой глядя на нее, — сейчас не знаю.

На лице ее ничего не отразилось. Он подождал, пока она приготовит шприц, и пошел следом.

При виде ее Пашка предупредительно метнулся в сторону, складывая газету и ужимаясь, чтобы занимать минимум места. Физиономия у него была не слишком веселая. Когда медсестра откинула простыню, открыв отца, его беспомощные ноги в сбившихся синих шерстяных носках, приткнутую пустую утку, тень жалости и смятения прошла по лицу Пашки, и Сергей подосадовал, что он здесь.

— Послушай, ну что тебе тут болтаться? Иди.

— Повторяю, если ты хочешь побыть один, я уйду.

Снова поставили термометр. Отец вроде был не такой горячий. Сергей следил за ртутным столбиком. Тот сразу подскочил к тридцати восьми и дальше поднимался не так быстро. Он миновал тридцать девять и замедлил движение, но через полминуты блеснул на отметке тридцать девять и пять, взял еще одно деление, потом еще одно и еще... Сергей смотрел, как ртуть одолевает десятые доли градуса, и уговаривал ее усилием взгляда остановиться. Ртуть дотянулась до сорока и одной десятой.

— Сколько? — раздался за ним голос Пашки. Сергей молча вынул термометр и стал его стряхивать.

Это галлюцинация, обман зрения — надо еще раз смерить. Однажды, когда болела Катька, термометр так же вот чудил, пока Сергей не догадался проверить на себе. У него, здорового, было сорок. Взяли другой — нормальная температура. Как они смеялись тогда после ухода врача.

Столбик уперся в отметку сорок и две десятых. «Если так будет продолжаться, отец умрет», — подумал Сергей. Ему показалось, что он только подумал, а на самом деле он сказал это вслух. На слове «умрет» он поднял на Павла глаза и усмехнулся нелепости сказанного.

— Может, все-таки позвонить Людмиле Сергеевне?

— Может быть, — согласился он. — Ей лучше приехать... — И опять ему показалось, что это он думает, а не говорит. — А то может не успеть...

Он говорил явную нелепость и удивлялся сам себе. Телефон был занят. Не останавливаясь, он стал спускаться по лестнице и, дойдя до погруженного в полутьму первого этажа, повернул обратно. С головой было что-то не так — какая-то недопроявленность предметов, которую хотелось стереть рукой. Когда он поднялся, это прошло. Телефон освободился. Он зарядил его двумя однокопеечными монетками и набрал номер. В трубке сразу, без гудка раздался голос матери, но она его не слышала, пока он не сообразил, что монетки застряли и не провалились в автомат. «Але?» — повторяла мать раз от разу тревожней. Он протолкнул монетки — акустика в трубке расширилась, вобрав в себя не только его голос, но и все пространство между ними.

— Мама, — сказал он спокойно. — У батьки очень высокая температура.

— Да? — безучастно сказала она. — Мне приехать?

— Нет, я просто так звоню. Только что сделали укол. Должно помочь.

— Сколько у него?

Сергей сказал.

— Боже мой... — произнесла мать, и несколько секунд в трубке длилось молчание. — Я тут батеньке стираю... Но... если я нужна...

— Пока ничего не нужно. У меня тут Пашка. Так что мы вдвоем.

— Я приеду, когда достираю.

— Пока не приезжай. Позвоню еще.

— Хорошо, сын, — согласилась она, будто ей было нужно, чтобы именно он распорядился, и ему почудилось, что так уже было когда-то.

Он помедлил, прежде чем вернуться в палату. Окно на площадке лестницы глядело во двор больницы, захватывая угол сада — темно-зеленый среди пустого асфальта и стен, побелевших под мерклой пеленой облаков. Казалось, за это время наступил перелом к лучшему, и Сергей медлил, чтобы перелом определился окончательно и бесповоротно.

Отец лежал в прежней позе, подложив под щеку ладонь. Павел, сидевший рядом с ним, приподнялся — в его глазах был вопрос.

— Я сказал, чтобы пока не приезжала, — сказал Сергей.

Павел хотел что-то ответить, но промолчал.

— Не открывал глаза? Павел покачал головой.

Смерили температуру. Сорок и шесть десятых. Такой температуры он еще не видел. Страшил этот неуклонный рост ртутной иглы, ее безжалостное стремление к пределу. Как отец выдержит? От него веяло жаром. На каждом вздохе он как бы приподымался над подушкой, над кроватью. Полуоткрытый рот со свистом втягивал воздух. Веки были крепко запечатаны, брови страдальчески приподняты. Если бы было возможно его разбудить, вернуть сознание, он бы, наверно, одолел то, что разрушало его сейчас.

— Ты вызвал врача? — спросил Павел.

— Вызвал. Она где-то с больным. Привезли тяжелого.

— Это не дело. — Павел все больше хмурился.

— Что?

Павел не ответил.

— Может, сам съездишь за матушкой? — сказал Сергей и полез в карман за деньгами. — Поезжай, а?

— А ты будешь один?.. Хорошо, я поеду. — Павел решительно встал со стула.

— Подожди. Я еще раз померяю. Вдруг...

Серебряная игла сразу вытянулась до сорока градусов и поползла дальше. Сергею вдруг почудилось, что он чего-то не сделал, что есть в нем какая-то сила, могущая остановить

происходящее, — так когда-то он верил в свои возможности, занимаясь парапсихологией, пока его вежливо не попросили прикрыть лавочку, — он вдруг вспомнил, что мог снимать у своих подопечных головную боль, усталость, даже передавать им на расстоянии зрительные образы, и впился взглядом в эту иглу, чтобы удержать на месте, заморозить смертоносную ртуть. Столбик застыл на сорока с половиной, и сердце дало радостный перебой. «Ну, батька, — молил он молча, — ну еще немного, ну, пожалуйста...» Потом ртуть взяла одно деление и еще одно.

Сергей устало вынул термометр:

— Поезжай, Паша. Отец умирает. Можете не успеть.

Павел стал складывать газету, но листы, как лепестки какого-то безобразного цветка, распались гремящим ворохом.

— Подожди, — сказал Сергей, — я позвоню.

Матери дома не было.

— Ужин! — громко объявили в коридоре, и ходячие больные, шаркая, потекли в столовую.

Павел стоял у кровати отца.

— Вот что, — сказал Сергей, стараясь собраться с мыслями. — Она уже едет. Через полчаса выйдешь, встретишь...

Павел кивнул.

— Впрочем... — Сергей потер лоб. — Не надо. Напугаешь... Может быть...

Оба посмотрели на отца. Тот дышал тяжело и шумно, весь приподымаясь.

Вошла сестра-хозяйка и молча поставила на тумбочку отца еду. Затем повернулась и громко сказала остальным:

— Ужин! Святослав Захарьевич, вставайте ужинать!

— Целый день спит, — сказал высокий старик. — Снотворное сильное. Надо меньше ему давать.

— Святослав Захарьевич, — повторила сестра-хозяйка. — Ужин! Ну? Не встанете, кормить не буду. Так и останетесь голодным.

Сергей подозвал ее.

— Унесите, пожалуйста, — кивнул он на тарелку.

Старики ушли. За спиной сестра-хозяйка, тихо поругиваясь, кормила соседа. Отец спал и не знал, что умирает. Сергей взял его за руку, думая, что еще раз попытается прорвать раскаленную оболочку, окружающую тело отца, но услышал в руке какой-то страшный шум, будто кто-то медленно поворачивал жернова.

Термометр показал сорок один и шесть десятых градуса. Вошла врач, та же, что принимала отца в приемном покое, крупная, спокойная, притягательная, как притягательны жизнелюбивые люди.

— Вот! — Сергей вскочил ей навстречу, намереваясь что-то сказать, но больше ничего не сказал. Да она и не ждала. Она подошла к отцу и, внимательно посмотрев на него, сняла с шеи фонендоскоп. Она прослушала отца — грудь, сердце, спину.

— У него температура сорок один и четыре, — сказал Сергей. — Что можно сделать? Можно что-то сделать?

Врач молчала.

— Он умирает?

— Ну почему... — сказала она уклончиво.

— Тогда дайте ему, пожалуйста, какие-нибудь сильные лекарства. Есть же быстродействующие лекарства.

— Хорошо, — сказала она и вышла.

Появилась процедурная сестра. Она долго не могла попасть в вену. Сидела по ту сторону отодвинутой кровати на корточках с выражением немой муки, какая бывает у рожаящих кошек. Ей было стыдно, что она не может попасть в вену, она пробовала снова и снова, и Сергей не мог смотреть, как ищут иглой голубую вену в прозрачной руке отца. Лицо процедурной сестры стало тоже красным, будто и у нее поднялась температура. Вдруг она выпрямилась и, не глядя ни на кого, быстро пошла из палаты. Сергей подумал, что ей стало дурно, но она тут же вернулась со второй сестрой — и снова они колдовали над веной отца. И то ли сделали наконец укол, то ли нет — но в шприце на этот раз было пусто.

Вернулись с ужина повеселевшие старики, и палата наполнилась шумом. Спал только маленький накормленный Святослав Захарьевич. И умирал отец. Лицо его было как в отсвете пламени. На шкале термометра столбик показывал сорок два градуса. Сергей в отчаянии обернулся:

— Где мама? Он умирает!

Павел вышел и снова показался на пороге. За ним шла мать. Она не спешила, на лице было странное, новое выражение обреченности.

— Мама, — сказал Сергей. — У отца сорок два. Мать закивала и закусила задрожавшие губы. Она приблизилась к отцу и стала гладить его по руке.

— Садись, мама.

Она села позади него в кресло. Подошла врач.

— У него сорок два градуса, — сказал Сергей. — Это все, доктор?

Ему показалось, что врач в легком замешательстве, будто он спросил что-то бестактное.

— Ему неудобно лежать, — сказала она. — Поверните его на спину. Пусть грудь дышит. Будет легче.

Сергей хотел спросить, сколько отцу осталось жить, но врача уже не было. Он снова поставил термометр и ужаснулся. Серебряная игла блестела во всю его длину, не отмеченную делениями, где не могло быть жизни. Но отец еще жил. И не ведал, что превысил пределы живого.

«Все, — сказал себе Сергей, — это конец». Наступало то, к чему он готовил себя давно, может быть, всю жизнь, с тех пор, как понял, что есть смерть и что его родители смертны.

— Сын, что сказал врач? — раздался за спиной беспомощный голос матери.

— Батьку надо повернуть на спину.

— Мне помочь вам?

— Не беспокойтесь, Людмила Сергеевна, — ответил Павел.

Они повернули отца. Он стал невероятно тяжелый. Поправили под головой подушку.

У окна высокий старик оживленно разговаривал с гостями из соседней палаты. Те бросали беспокойные взгляды в сторону отца. За окном, где стояло свинцовое марево, блеснуло, и раздался отдаленный, но резкий треск грома. Отец продолжал бурно дышать, и вдруг в дыхании наступила пауза. Она была короткой, но страшной. Отец застонал. Его стон был не из сна, а из яви, был как пробуждение. Гости, взяв под руки высокого старика, оторвались от окна и торопливо вышли из палаты.

— Ой... — стонал отец, — ой... — Его лицо побледнело, и непосильное физическое страдание отразилось на нем.

— Что с ним? — раздался голос матери. — Он умирает?

— Подожди, подожди... — Сергей склонился над отцом так, чтобы ей не было видно.

— Что с ним? — повторила мать, прикованная к креслу, на котором она провела около мужа пять последних бессонных ночей, вспомнив всю их жизнь, о которой так мало знал сын.

Сергей не отвечал. Он хотел оградить отца от свидетелей его последнего страдания, словно отец попросил его об этом. Из горла отца вырвался короткий, как позыв к тошноте, звук, и тень прошла по его лицу.

— Он умер? — спросила мать.

— Подожди, подожди...

Отец еще жил. Дыхание его стало почти неслышным, лицо — бледным, серым, страдальческим. Он снова издал короткий, давящий звук и затих. Веки мелко, едва уловимо дрожали, будто он силился открыть глаза. Сергей прижался ухом к его груди и не услышал биения сердца — вместо него раздавался глухой беспорядочный шум.

— Что? — спросила сзади мать.

Он взял правую руку отца, ища пульс, — пульса не было, один только слабый трепет. Затем по руке прошла крупная дрожь, дрожь прошла по всему его телу. Снова раздался давящий звук, словно то, что разрушало отца изнутри, никак не могло справиться с остатком сопротивляющейся жизни — и вдруг разом что-то схлынуло с его лица, с открывшихся, устремленных вверх глаз, и в них вместе с пронзительной голубизной вошло неистовое выражение смерти.

Мать увели. Сергей устало обернулся и столкнулся взглядом с лежащим на боку бывшим командиром звена морских охотников. Старик все видел. «Умер?» — спросил он глазами. Сергей кивнул. Лицо старика сморщилось, и он затрясся в беззвучном рыдании.

За окном было смутно. Сергей вспомнил о матери и пошел в коридор. Мать сидела посередине коридора в кем-то принесенном кресле и плакала. Какая-то женщина, навещавшая мужа, утешала ее, глядя по плечу, по руке.

— Поплачьте, родная, поплачьте, облегчите душу...

Сергей вернулся в палату. Теперь в ней не было никого, кроме ничего не подозревающего Святослава Захаровича. Он по-прежнему спал, свернувшись калачиком.

Отец лежал на спине, запрокинув голову, отрешенный и неживой. Сергей встал на колени и прижался лицом к его горячей, несмотря на смертную бледность, голове. Волна огромной, переполняющей нежности к тому, кто был его отцом, подхватила его и была как откровение. Сергей испытывал счастье, прижимаясь к этому раскаленному мертвому телу, испытывал любовь такой силы, какой никогда прежде не дано было ему испытать. Мертвое лицо отца казалось ему прекрасным, и он не мог отвести взгляда от его прозрачно-голубых, неистово глядящих куда-то глаз.

— Надо закрыть глаза, — сказал над ним Павел. Сергей тронул веки. Глаза закрылись легко и послушно, но ему стало жалко, что он не видит их орлиного выражения, и он снова прикоснулся к векам. Глаза так же легко открылись — он стоял на коленях и не мог насмотреться.

Подошла врач.

— Уже? — В голосе ее было удивление. Она послушала тело отца, пощупала руку. Было восемь часов вечера и пять минут. Так и записали. Сергей промолчал, что отец умер на пять минут раньше — это время принадлежало только их прощанию.

За окном снова громыхнуло.

Потом он осознал себя стоящим в коридоре перед врачом и провел рукой по лицу.

— Сейчас ничего больше не надо, — слышал он ее неторопливый, шадящий голос. — Отец ваш останется здесь. Два часа его нельзя трогать. Так положено. Завтра утром его перевезут в морг на Динамо-три. Приедете туда. Но сначала к нам — за справкой о смерти.

С чувством вины перед ним, накрытым простыней, так что под ней остро обозначились ступни и нос, они собрали ненужные теперь вещи, заполнявшие тумбочку, — чашку, чайную ложку, баночку с остатками меда, его тикающие часы, пеленки, клеенку, вставную челюсть.

— Надо все взять, такая примета, — пробормотал Павел.

Вещей набралось — сумка и узелок. Электробритва, сгоревший вентилятор... Выходя последним, Сергей оглянулся — тело отца лежало под простыней и больше не принадлежало им.

Во дворе мать снова зашлась от рыданий:

— Он один там... Наш батенька... Не смогла я ему помочь...

Сергей обнял ее за плечи:

— Не плачь, мама. Его там нет.

— Зачем я пришла... Я не хотела этого видеть... Это слишком жестоко... Мой бедный, бедный батенька...

Мать посадили на скамейку, положили рядом узелок с торчащей из него лопастью вентилятора. Сквозь полог листвы белела стена больницы. Окно отцовской палаты на четвертом этаже было открыто — за ним неподвижно висела голубая штора...

В саду было тихо и печально. В нисходящих грозовых сумерках светились зеленые коридоры, и казалось, что душа отца здесь, под темными неподвижными ветвями, — смертельно усталая, но живая.

Едва вышли на улицу, как хлынул ливень. Огромная туча пересекала небо, и улица, сад, крыши домов — все в мгновение ока стало холодным, мокрым и блестящим. Они проголосовали первому попавшемуся частнику, и тот остановился. В машине было сухо, тепло, играла музыка, которую водитель, взглянув на них, тут же выключил. Павел сел впереди. Сергей с матерью сзади. Машина резко взяла с места и понеслась сквозь отвесный поток воды.

Прильнув к стеклу, Сергей безотрывно глядел на свершавшую свой очистительный ритуал грозу. Она шла, заменяя смерть жизнью и жизнь смертью. С моста между Петроградской стороной и Васильевским островом на все стороны открылось небо — новое, переменившееся, с огромными сияющими голубыми окнами.

Остаток того лета мы провели на даче. Хозяйка, прожившая всю жизнь в Лисьем Носу, говорила, что не припомнит такого тепла, и странно было, что все это уже без отца. После его смерти я почему-то ждал, что он явится ко мне. Я ждал его прихода, как Гамлет. Я внушал себе, что не струшу, завидев его тень, — я думал, что он придет и скажет свое последнее слово.

Но явился он не мне, а Гале — на той же даче, поздно вечером, когда Катька уже спала. Галя вдруг почувствовала, что он здесь. Она открыла дверь и увидела его. Он стоял в темной прихожей в своем светлом полосатом халате и молча смотрел на нее. Он был очень стар. Он приходил проститься.

Две мои телеграммы Галя с Катькой так и не получили — позвонили, когда от отца осталась кучка пепла, — и втайне я поблагодарил наших славных работников связи, я не хотел, чтобы Катя видела его мертвым. Но она была на захоронении урны и, к удивлению моему, не плакала, вдруг что-то стремительно осознав.

Бывал ли он в крематории, где завещал предать себя огню, в этом сооружении, возведенном не слишком далеко от Пискаревского кладбища, за веткой железной дороги, по которой то и дело идут электрички, надолго задерживая у шлагбаума автобусы с людьми, цветами и гробами? Приземистое это здание — странное сочетание торжественности и намерения остаться незаметным — поставлено на насыпном квадратном холме, откуда на все стороны открывается залитая светом равнина. Где-то на самом ее краю, в слюдяном, вибрирующем блеске видны какие-то мачты, постройки, а здесь тишина, щебет жаворонков, и ветер доносит с полей запах нагретой травы.

Рядом — приземистая постройка с могучей трубой, скрывающей за параллелепипедной архитектурой свое предназначение. Труба почти все время в деле — слышится приглушенный толстыми стенами рык, и ветер срывает сверху профильтрованный дымок. Труба тихо, отлаженно рокочет, как на гигантском пассажирском корабле.

Сюда мы и привезли отца, поразившего нас чеканной суровостью своего на тридцать восемь лет помолодевшего лица. Прощание, шляпка гвоздя, блестевшая в черном козырьке прибитой к крышке гроба офицерской фуражки, и то, как не закрывался гроб, потому что на ногах у отца были длинноносые гражданские туфли, строй автоматчиков на зеленом газоне за стеклянными вертикалями зала, где была панихида, и что отец снова постарел за время пути, и орлиное лицо его, выражавшее презрение к смерти и жалости, теперь было домашним и родным, словно оттаявшим под нашими слезами, — все это прокатилось беспощадной болевой волной и стало прошлым. Я так и не притронулся к отцу, чтобы сохранить в памяти его посмертный жар — продолжение его, жар, уплывающий в небо, остающийся в нем навсегда, становящийся солнечным светом, ветром, веющим в наши лица.

Через год в день смерти отца шел дождь. Никого из родных не было в городе, и я поехал к нему один. На кладбище было мокро, тихо и пустынно, нещадно кусались комары, со всех листьев капало, и нежно-зеленый сумеречный свет запоздалого лета стоял вокруг. Потом через весь город я поехал на Каменный остров в больничный сад.

Не знаю, зачем я туда поехал, — может быть, я хотел отыскать его след, его душу, присутствие которой ощущали мы тогда под темными кронами.

Едва я ступил в этот сад, как почувствовал, что отца в нем нет и нет давно. Я прошел мимо кустов барбариса — они еще не цвели, и маленькие желтые кулачки соцветий были плотно сжаты. А сад был обнаженной, истоптанной... Я дошел до знакомой скамейки. Отсюда мне было видно окно отцовской палаты. Оно светилось, и за стеклом, облитым дождем, голубела знакомая штора. Я посмотрел на часы. Было без двух минут восемь. От реки тянуло знакомым, чуть болотным запахом воды. По мокрому шоссе с влажным гулом проносились машины. Ровно в восемь я пошел прочь.

Я еще ничего не сказал об отцовской рукописи, которую заново перечитал в то лето на даче. Читал я вслух, единственным слушателем была Катька. Вот когда она не скрывала слез, и мне не раз приходилось прерывать чтение, чтобы утешить ее.

Отец не испытывал ни малейшего желания опубликовать свои воспоминания. Он говорил, что написал их для внучки. Может быть, рукопись эта и заставила меня впервые задуматься над тем, а что же, собственно, останется после меня: вспоминать мне как будто не о чем — не каждому поколению перепадает груз истории, некоторые так и проходят налегке. Но если мне не удалось что-то сделать, я по крайней мере обязан что-то понять.

Диссертацию свою я забросил — кому нужен еще один профессор кислых щей. Мне кажется, я мог бы написать неплохую научно-популярную книгу о семье и браке. Ведь за семьей большее будущее, чем предполагают. Только от нее зависит, каким будет человек. На эту тему я сейчас читаю лекции в обществе «Знание». Мне нравится аудитория. Я чувствую, что люди соскучились по семейному очагу. Кажется, теперь я понимаю, чего отцу не хватало в «Анне Карениной».

...Сейчас декабрь. За месяц снегу насыпало столько, сколько не бывает за целую зиму. Темнеет рано, и я встречаю дочку возле метро, когда она возвращается из Дворца пионеров. Дворами мы идем к дому, пряча лица от ветра. Дворники не успевают расчищать тротуары, и, чтобы не поскользнуться, мы мелко перебираем ногами, держась друг за дружку.

Оказывается, у нас во дворе тоже есть кусты барбариса. Катька мне их и показала.

— Однажды нас бабушка послала набрать ягод, — рассказывала она. — Мы стали с дедушкой собирать, а какая-то тетка открыла окно и стала на нас кричать: «Что кусты ломаете? Не вы сажали!» Дедушка не слышит, собирает себе ягоды, а тетка разоряется. Я его за руку тяну, а он: «Что? Что? Не понимаю...» Так мы ягод и не набрали. Хотели потом пойти, позднее, но в темноте ничего не видно.

По глубокому снегу, оставляя в нем провалы следов, мы добрались до кустарника. Кусты были голы и беззащитны.

— Смотри! — воскликнула дочь. — Ягоды!

На одном из кустов на недостижимой высоте затаилась целая россыпь подсохших капелек крови. Я потянулся, перебрал ветку руками, наклонил — и мы собрали горстку ягод, еще сохранивших живой кисловатый сок.

— Остальные оставим птицам, — сказала дочь. — Ой, что это у тебя?

Я посмотрел на ладонь. Сначала я подумал, что это раздавленная ягода, но это была кровь.

— Они же колючие, надо было поосторожнее, — сморщилась дочь, будто это ей было больно. Я раздвинул руками кустарник и глянул внутрь. На прямых ветвях тут и там торчали не замеченные мною стройные трезубцы тонких, но крепких игл.

1980 - 1982 гг.